



Литературный Азербайджан

ИЗДАЁТСЯ
с 1931 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
УЧРЕДИТЕЛЬ - СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ
АЗЕРБАЙДЖАНА

№ 11

СОДЕРЖАНИЕ:

ПРОЗА

Ляман БАГИРОВА. <i>Новеллы</i>	59
Джавид ГАСЫМОВ. <i>Назидательные истории</i>	96

ПОЭЗИЯ

Таира ДЖАФАРОВА. <i>Стихи разных лет</i>	41
Лада СМИРНОВА. <i>Молитва о любви. Стихи</i>	85
Сиявуш МАМЕДЗАДЕ. <i>Стихи</i>	111

ПУБЛИЦИСТИКА

Таира ДЖАФАРОВА. <i>Преданья старого Баку и путь в Суоми</i> (Окончание)	3
Людмила БЕЖЕНАРУ. <i>Камал Абдулла: философия полноты</i>	45
Салида ШАРИФОВА. <i>Художественная проза Чингиза Абдуллаева:</i> через призму теории детектива	89
ЛАЧИН. <i>Четыре варианта литературы</i>	114

2016

Главный редактор	– Солмаз ИБРАГИМОВА
Зам.главного редактора	– Елизавета КАСУМОВА
Ответственный секретарь	– Эльдар ШАРИФОВ-СЕЙШЕЛЬСКИЙ
Отдел прозы	– Надир АГАСИЕВ
Отдел поэзии	– Алина ТАЛЫБОВА
Отдел публицистики	– Ровшэн КАФАРОВ
Отдел подписки и рекламы	– Джамия ШАРИФОВА тел: (055) 846-98-49
Литсотрудники	– Ниджат МАМЕДОВ, Егана МУСТАФАЕВА, Натаван ХАЛИЛОВА
Компьютерная верстка	– Натаван ХАЛИЛОВА
Корректор	– Анна КУЗЁМКИНА
Редакционная коллегия:	<i>Почетный аксакал «Л.А.» Сияуш МАМЕДЗАДЕ, Кямаля АГАЕВА, Эльмира АХУНДОВА, Агиль ГАДЖИЕВ, Асиф ГАДЖИЕВ, Шелала ГАСАНЛИ, Александр ГРИЧ (Лос-Анджелес, США), Динара КАРАКМАЗЛИ, Азер МУСТАФАЗАДЕ, Эльчин ШЫХЛЫ</i>
Литконсультант	– Натиг РАСУЛЗАДЕ

Журнал зарегистрирован 19.04.96 г в Министерстве
печати и информации Азербайджанской Республики
Регистр. № 352

Адрес редакции:

AZ 1000, Баку, ул.Хагани, 53

Электронный адрес: litaz@box.az

Тел: 493-75-81

Сдано в печать 24.10.2016г.

Бумага офсетная. Формат 70x100 1/16

Печать офсетная, 8.25 печ. л.

Тираж 400

Отпечатано в типографии «OL»НКРТ ММС

Тел.: 497-36-23

Адрес: ул. Мирзы Ибрагимова, 43

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКАХ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА

***Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Ранее опубликованные произведения редакцией
не рассматриваются***

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию «OL»НКРТ ММС

© «Литературный Азербайджан», 2016 г.

ТАИРА ДЖАФАРОВА

ПРЕДАНЬЯ СТАРОГО БАКУ И ПУТЬ В СУОМИ*

ДЕТСКИЕ ПРОКАЗЫ

Когда мы учились в младших классах, меня обычно избирали звеньевой, но однажды, в четвертом классе, мне выпала честь стать председателем отряда. Тогда мне полагалось после занятий раз или два в неделю оставлять девочек в школе и заботиться о них, а также помогать отстающим. Когда мне приходилось вести классный час, я им пересказывала прочитанное, рассказывала о героях Жюль Верна и Конан Дойла, которыми увлекалась сама – о пятнадцатилетнем капитане и Шерлоке Холмсе. А следовало рассказывать в те пятидесятые годы о героях-пионерах, о Павлике Морозове или об Ульяне Громовой. На таких классных часах все скучали и потому вели себя не лучшим образом, шумели. Но у меня сидели, не шелохнувшись, слушая с раскрытым ртом. Я им пересказывала, как могла, «Пеструю ленту», «Собаку Баскервилей»... я это делала тайком и прислушивалась к шагам дежурного педагога за дверью, чтобы не попасться. В соседних классах в это время стояли шум и гам, и дежурная учительница, проверявшая нас, заглядывая, удивлялась, отчего в моем классе стоит мертвая тишина. А я, естественно, с ее приходом умолкала, стараясь переменить тему.

Тогда у нас в школе не устраивали ни коллективных посещений театров или концертов, ни, уж тем более, походов и вылазок на природу. Ничего такого, что могло бы сплотить и сдружить нас. Но когда в четвертом классе я стала председателем отряда, мы с моей подругой Джаной решили использовать это повышение на полную катушку. Шутка ли, вся власть в наших руках! Начитавшись приключенческих книг – Жюль Верна, Майн Рида, Стивенсона, Марк Твена и других классиков, мы загорелись желанием организовать поход, настоящий поход. Причем местом, где мы собрались путешествовать, выбрали Нагорный парк, который в те времена выглядел достаточно диким и пустынным и казался нам самым подходящим для того, чтобы встретить там увлекательные приключения.

Мы долго готовились к походу, разрабатывали маршрут, строили планы, для нас это было развлечением. Обычно я, возвращаясь с уроков музыки, по дороге домой заходила к Джане, и мы увлеченно обсуждали все детали, одновременно делаясь впечатлениями о только что прочитанном. Мы твердо решили, что пойдем одни, без взрослых, от которых одна только скука. Придумали, что на пути будем разбрасывать спички, чтобы идущие следом не заблудились. Конечной целью должна была быть пещера, вернее, подобие пещеры, которую мы заметили в парке во время прогулок с родителями. И там следовало развести настоящий костер. Не знаю, как мы собирались это сделать – ни я, ни она никогда этим не занимались, но много читали об этом.

Наконец мы наметили подходящий для похода день – воскресенье, когда в школе нет уроков. Стали понемногу рассказывать о задуманном походе ближайшим

* Окончание. Начало в № 9, 10, 2016г.

подругам, увлекая их нашими планами. И у нас это получилось, благо, что у Джаны уже тогда проявились режиссерско-актерские способности. О нашем готовящемся походе мы все же поставили в известность нашу классную руководительницу Лидию Александровну, которая меня особенно выделяла и любила. Лидия Александровна не стала нам запрещать нашей затеи, после того как мы уверили ее, что с нами пойдут мои и Джанины родители. Приближалось намеченное воскресенье. Все участники должны были собраться в школьном дворе в двенадцать часов дня, откуда дальше двигаться в сторону Нагорного парка по разработанному нами плану. Но почему-то в назначенное воскресенье моя мама ни за что не хотела меня отпускать, она решила, что мне необходимо посидеть дома и отдохнуть:

– Ты хотя бы один день посидела дома, на что похожа, одни кости и кожа.

На самом деле, надо сказать, что почти каждый день после уроков мы с Джаной шли на бульвар погулять, полюбоваться морем. В то время у берега моря еще не возвели гранитных парапетов, и мы гуляли у самой кромки, возле воды. Еще мы ходили в купальню, которая там находилась на месте нынешнего яхт-клуба. Джанина мама часто водила туда свою дочь и заодно брала меня. Поэтому моя мама, конечно, была права, упрекая в том, что редко меня видит. Я целый час упрашивала ее, прибегая к самым убедительным доводам и используя самые нежные прозвища. Наконец моя сговорчивая мама сдалась. Оказалось, что то же самое происходило и у Джаны дома. В результате обе мы, изрядно опоздав и запыхавшись, влетели в школьный двор, где собрались наши девочки. (В то время школы были отдельные для мальчиков и девочек.)

Большой неожиданностью для нас явилось то, что староста нашего класса Гюля, круглая отличница и ябеда, пришла вместе со своей мамой. Убедившись, что с нами нет ни одного родителя, они удалились, произнеся нам грозные предупреждения.

Но мы все же отправились в наш Поход, хотя настроение оказалось несколько подпорчено. Вскоре мы вошли в Нагорный парк. Парк, как всегда, выглядел почти пустынным и от этого казался нам очень загадочным. Он располагался вверх по склону, и мы начали наше восхождение. (Сейчас на этот склон поднимается фуникулер).

Надо отметить, что среди наших одноклассниц были красивые и рослые девочки, уже вполне оформившиеся. А предводители похода – мы с Джаной – со стороны выглядели, наверное, малосильными – я, маленькая, худенькая, с торчащими косичками, и Джана, не намного выше меня, с огненно-рыжими волосами, совсем как Пеппи длинный чулок. Но мы, благодаря нашей увлеченности и организаторскому пылу, выбились в предводители. Мы шли впереди, с упоением продвигаясь в направлении заветной пещеры и методично разбрасывая спички. Как вдруг заметили, что мы не одни, что среди деревьев двигаются какие-то тени. Приглядевшись как следует, мы поняли, что за нами наблюдают подозрительные типы, видимо, решили мы, охотники за девушками. Началась паника, все в беспорядке тут же понеслись с горы вниз, в сторону города. К своему стыду, мы, дрогнув перед лицом неприятеля, бежали и почувствовали себя в полной безопасности, только очутившись у здания Азнефти.

Обиднее всего, что по пути домой по тогдашней Коммунистической улице (теперь Истиглалият) я встретила нашу классную руководительницу Лидию Александровну, которая ласково спросила: «Деточка, а где же твои родители?» На что я, не моргнув глазом, ответила, что они отправились в гости.

Следующий день в школе стал днем расправы над нами. Ябеда Гюля донесла, что в походе родителей наших не было, и кое-кто из участников не стал отпираться, подтвердил это. В результате Лидия Александровна поставила меня перед лицом класса, и меня торжественно разжаловали из председателей отряда в рядовые.

Так закончилась наша первая с Джаной проделка.

Еще я помню, что в комнате Рагимбека, а также в зале, где находилось два высоченных старинных зеркала, мы с Джаной иногда разыгрывали из себя маркиз. Происходило это так: мы наряжались в тетушкины одежды, влезали в туфли на высоких каблуках и говорили друг с другом высокопарными фразами. Потом отправлялись смотреть в который раз любимый фильм «Граф Монте-Кристо» с Жаном Маре в главной роли, благо, что уроки в школе начинались днем.

Иногда мы нещадно нарумянивались и пудрились из стоявших на призеркальных тумбочках тетушкиных пудрениц и склянок – это называлось на Джанином языке «загримироваться». Однажды я, забыв снять грим, появилась в таком виде на занятии музыкой у своей учительницы Лилии Соломоновны Россик. Она долго вглядывалась в мое лицо, потом беспокойно спросила: «Что с тобой, деточка, ты вся горишь? У тебя температура?» Но, дотронувшись до моего холодного лба, она вдруг все поняла, принесла вату и спирт и стерла грим с моих щек.

Это впоследствии натолкнуло меня на «идею» воспользоваться подобным театральным приемом, чтобы пропустить уроки и не идти в школу. Я «нагримировалась» и, как только моя мама пришла с работы, стала уверять ее, что у меня болит голова. Мама заволновалась и, сказав, что у меня, наверное, жар, тут же уложила меня в постель. Весь вечер мне пришлось пролежать в постели, пить то горячий чай, то горячее молоко, терпеть другие неприятные процедуры в предвкушении завтра, когда я планировала пойти в кино и снова увидеть один из наших любимых фильмов. Так оно и получилось. Я посмотрела фильм «Семеро смелых» и потом с гордостью, взахлеб рассказывала Джане, как ловко мне удалось изобразить «мнимого больного».

Позже, когда мы учились уже в старших классах, с нами приключилась забавная история. Она мне надолго запомнилась. Обе мы увлекались театром, я – скорее под влиянием подруги. Однажды летом на гастроли в Баку приехал театр Моссовета с нашими любимыми актерами Верой Марецкой и Ростиславом Пляттом. Мы посмотрели их спектакли и каким-то образом узнали, что днем они репетируют комедию Ярослава Гашека «Госпожа министерша». Узнав об этом, мы незамедлительно приняли решение проникнуть на репетицию. Но как это сделать?

– Естественно, через служебный ход, – сказала знавшая все театральные тонкости Джана. – Откуда проходят сами актеры.

И мы попробовали пройти в театр. Оказалось, что это довольно легко. В проходной меня никто не остановил, может быть, просто не заметив из-за маленького роста. Я прошла прямо в зал и с важным видом уселась в центральном ряду. У меня был подкупающий вид девочки-паиньки в красном костюмчике-матроске. Режиссер Анисимова-Вульф, взглянув на меня, спросила:

– Чья это миленькая девочка? Это дочка кого-то из актеров?

Я слабо кивнула в ответ. И репетиция началась. У Джаны дела обстояли похуже, ее почему-то сразу же вывели из зала. Но позже я заметила, что она устроилась в нижней ложе, видимо, присев на корточки: оттуда торчала только ее голова. Мы с восторгом следили за развитием действия на сцене, за актерами, за работой режиссера. С того дня мы стали ходить на репетиции каждый день. Однажды, когда

дело уже приближалось к премьере, мы так освоились в театре, что стали оставаться и после репетиции. Мы сидели в пустом фойе, обсуждали действие, подражали актерам, словом, развлекались и веселились, как могли. Как-то раз, увлеченные разговором, мы не заметили, что впереди, скрытый от нас колоннами, сидел сам Плятт. Мы увидели его уже когда он встал и прошел мимо нас в комнату администратора. Через некоторое время оттуда выскочил взволнованный администратор и буквально подбежал к нам: «Кто вы такие? Как вы сюда попали?»

Я хотела незаметно проскользнуть через администраторскую на улицу, но не тут-то было. Администратор, строго нахмурившись, ждал от нас ответа: «А ну-ка, отвечайте, как?» «Через крышу, разумеется», – неожиданно выпалила Джана.

Позже до меня дошло, что моя подруга решила устроить небольшое представление, так сказать, собственный театр в театре. Она стала произносить монолог за монологом, суть которых сводилась к тому, что да, мы проникли сюда, потому что человек, влюбленный в театр, подобен голодному, взирающему на витрину с яствами. Голодный может разбить витрину, а влюбленный в театр постарается любым способом проникнуть в боготворимый им храм искусства. Администратор, к сожалению, не смог ее пылких речей ни понять, ни оценить. Он решил, что мы опасные дети и призвал участкового милиционера, чтобы выяснить, кто мы такие и нас припугнуть. Дело заходило далеко, я представила себе, как бедной моей маме сообщат, что дочь ее находится в милиции. Но тут неожиданно пришло спасение в лице именно приглашенного милиционера. Он взглянул на меня и сказал:

– Эту девочку я знаю, она из хорошей семьи, так что я за нее ручаюсь, можете их отпустить домой.

О, я благодарила провидение за то, что оно послало нам знакомого блюстителя порядка, и за то, что мой дедушка был деканом юрфака. Мы выпорхнули из театра с чувством необыкновенного облегчения и перестали ходить на репетиции, которые уже и без того заканчивались. Вскоре объявили о премьере. Моя тетя Марьям, наша завзятая театралка и просветительница, как всегда, купила билеты и для нас с Джаной, причем в первые ряды. В театр мы обычно собирались торжественно, нас переодевали в праздничные одежды. И вот мы, принаряженные, вместе с тетей, выглядевшей маркизой, вошли в театр и появились в фойе.

Тут, откуда ни возьмись, перед нами вырос администратор и грозно спросил: «Где ваши билеты? Как вы вошли сюда?» Моя ничего не подозревавшая тетушка была необычайно удивлена. «Конечно, билеты есть, да еще с местами в первых рядах!», – и с видом оскорбленного достоинства показала наши билеты. Мы, понятно, ничего не стали разяснять и с невозмутимым видом устремились в зал, подальше от бдительного администратора, пока моя тетушка отчитывала его за неслыханную бестактность.

Прошло лето, снова начались уроки в школе. Джана, как всегда, занималась школьным драмкружком. Я знала, что она пообещала директрисе школы Любове Яковлевне Шведской подготовить к школьному празднику отрывок из «Госпожи министерши», и что она репетирует наш любимый эпизод «Учитель танцев». Мы в то время уже учились вместе с мальчиками, и она выбрала одного из них, слегка похожего на Плятта, на роль учителя танцев и принялась репетировать.

Обычно мы возвращались из школы домой вместе, весело обсуждая события прошедшего дня. На мой вопрос, как идут репетиции, она почему-то отмахивалась, отвечала неопределенно, не вдаваясь в подробности. И вдруг однажды она упростила

меня остаться на репетицию: «Как друга прошу, пойдем вместе со мной, может, ты сможешь мне расшевелить этого парня. Ну, ни в какую, никак он не может раскрепоститься, дико стеснительный. А дней осталось совсем мало».

Я пошла вместе с ней и тут увидела, что парень этот просто прирос к стене. Он должен был сыграть учителя танцев, обучавшего министершу. Общими усилиями мы вместе с Джаной долго старались оторвать его от стены. Мы выдвигали разные колена, подражая Плятту, и, невзирая на то, что у нас не столь длинные, как у него, ноги, вытанцовывали, крутили ногами в воздухе, но, увы, все оказалось бесполезно.

«О, хороший тон для меня как кислород, без которого я чахну», – повторяли мы, подражая интонациям Плятта, хохотали, но это, видимо, приводило нашего новоиспеченного актера в еще большее смущение. Во всяком случае, он заявил с извинениями, что никак, никак не сможет сыграть эту роль.

До школьного вечера оставалось два дня. И вот в предпоследний день Джана ворвалась после школы к нам домой и, запыхавшись, сказала:

– Все, он наотрез отказался. Выручай. Теперь ты будешь играть министершу, ты знаешь текст наизусть. А мне придется сыграть учителя танцев.

Другого выхода не оставалось, я действительно знала наизусть текст всей пьесы. Мы стали думать, как быть, ведь министерша – представительная дама, а не такая кроха, пигалица, напоминающая, скорее, котенка, вроде меня. Кроме того, требовался подходящий костюм. Решили обратиться в театральный прокат костюмов. Там мы нашли для меня красивый атласный костюм. Но, увы, я в нем утопала. Однако Джана нашла выход, она решила, что я надену под нарядный костюм ватник, который придаст моей фигурке необходимые объемы. В нем я сразу почувствовала себя уверенней. Сама Джана надела мужской костюм, уверенно засунув свои рыжие косячки под внушительный цилиндр.

Когда на следующий день мы появились на школьной сцене, зал замер. Но, разобравшись, кто есть кто, грохнул от смеха. Я постаралась как можно быстрее проговорить весь текст.

В одном месте слегка споткнулась, так как ни разу не репетировала на сцене, да еще на каблуках, но это оказалось воспринято как должное. И, слава богу, все обошлось. Даже Шведская сказала потом Джане, что она ни разу в жизни еще так не смеялась, и поблагодарила ее за постановку.

БАШНЯ

Многое в детстве, да и позже, у нас было связано с дачей, где мы проводили каждое лето, где тоже находилось место для всевозможных детских проказ. Я часто вспоминаю мардакянскую башню, с которой, казалось нам, тогда виделось все – и день сегодняшний, и день будущий. Даже сегодня я иногда представляю себя там, наверху, и, не отрываясь, смотрю на свое детство и молодость.

Помню, как мы с Джаной в детстве не раз поднимались на эту башню. Мы поднимались наверх обычно на закате, когда спадала жара и оттуда открывалась, как на ладони, вся дачная мардакянская жизнь.

В одних дворах люди выносили самовары, рассаживались на расстеленных коврах. Где-то собирали виноград и инжир, проверяли, как сушатся разложенные на деревянных табáгах¹, накрытых холщевой материей, очищенные инжирины и виноград,

¹ Табаq (азерб.) – лоток, корыто.

– предназначенный на изюм. А там, дальше, варили дошаб на костре в медных тазах, где-то делали уксус, бросая ягоды в большие стеклянные баллоны. Все готовили запасы на зиму. На нашей даче имелся старинный выдолбленный внутри камень, мы называли его дошабницей, в нем мужчины, вымыв, как следует, ноги, давили виноград, и сок бежал в подставленный у отверстия камня баллон, уже потом в баллоны вставлялись какие-то трубочки, все плотно закрывалось, и сок начинал бродить, пока не превращался в прекрасное вино. А еще готовился коньяк.

Сверху можно было разглядеть, как кто-то мыл, сушил и взбивал уже высохшую шерсть для одеял и тюфяков, – именно в тех дворах водились мастерицы, которым и наше семейство отдавало свои использованные тюфяки. А еще дальше загоняли во дворы баранов, кормили их арбузными и хлебными корками, собранными у соседей. Голодные бараны ужасно громко блеяли, ведь пастбищ с сочной травой на Абшероне не было. И держали баранов под открытым небом, у большинства крестьян овчарен не имелось. Зато в других дворах двигались медленно, неторопливо пили чай из самовара или остервенело играли в нарды, так, что в вечернем воздухе внятно слышались возгласы азартных игроков и стук костяшек. А кто-то, пользуясь вечерней прохладой, сгребал граблями траву, потом поджигал, и тогда пряно горчащий запах дыма разносился далеко вокруг. Кто-то возделывал огород или поливал свои посевы. Дети обычно по вечерам садились вместе со взрослыми, завершившими свои труды и хлопоты, играть в лото, домино, шахматы и, конечно же, резались в «дурака». Ведь телевизоров и тем более компьютеров в нашем детстве не существовало.

Многое-многое виделось нам с башни в те годы в подробностях, которых я уже теперь не помню. Конечно, тут можно было подсмотреть и что-то более волнующее, заметить чьи-то невидимые миру слезы... А когда мы возвращались с башни, то, подходя к дому, видели, как над нашей узкой улочкой низкими кругами носились летучие мыши, и взрослые нас, детей, пугали, что они могут сослепу вцепиться нам в волосы.

Кроме круглой башни, в Мардакянах есть еще и квадратная башня, она виднелась с нашей дачи и к ней можно было подойти, идя дорогой, ведущей на пляж, и сворачивая налево недалеко от нас. Слева вдоль дороги тянулась длинная толстая труба, по которой текла вода, в жаркие дни мы частенько забирались на трубу и шли по ней босиком, чувствуя ее прохладу. В детстве мы иногда ходили к морю пешком по почти пустынной дороге, благо, что машин тогда проезжало совсем мало, не то, что теперь, когда создаются такие заторы, что невозможно сдвинуться с места и придется ждать ночи, когда пробки рассасываются, чтобы вернуться домой.

Уже во взрослом возрасте мы сами на закате разжигали на веранде, обращенной к морю, самовар, который топили сосновыми шишками, пили чай с вишнями. У Чехова рассказано, как его герои пьют чай с «крыжовенным вареньем», а мы пили чай непременно с вишнями. Нам это чаепитие тоже казалось неким действием! Потом мы долго сидели в сумерках, шутили, смеялись и вели нескончаемые беседы о литературе, читали друг другу стихи. А еще любовались звездным небом, которое на юге необычайно яркое, а над нашей дачей особенно. Кто-то читал Бальмонта: «В окно глядела Кассиопея, причастна тайнам была она...» И так сидели всю ночь напролет, почти до утра. В августе мы всегда засматривались на звездопад. Окружавшие нас поэты читали свои стихи. Прочитую стихотворение одного из них, оно написано гораздо позже, но посвящено тем незабываемым вечерам:

*Здесь древняя круглая башня
и моря далекая гладь
о юности позавчерашней
настроились напоминать.*

*Блаженства и лени рассадник –
непуганый жаркий покой.
Наклонно течет виноградник
бездумной зеленой рекой.*

*Тутовник, согбенный и старый
стоит, опершись на костыль.
Дремотные летние чары,
июльский полуденный штиль.*

*Сегодня приметы упадка
неявно, но все же видны:
искрошена старая кладка
давно потемневшей стены.*

*Беседка в саду сиротливо
осела, не радуя взгляд,
верблюжьей колючки разливы
вплотную к дорожкам стоят.*

*А было ведь время иное,
когда, романтичный до слез,
весь мир отливал новизною,
и все принималось всерьез.*

*Здесь некто в пылу вдохновенья,
наморщив презрительно лоб,
читал под древесною сенью
Бальмонта и Блока вздохлеб.*

*И девочки, смутно робея,
внимали с восторгом ему,
и страстная Кассиопея
светила в чернильную тьму.*

*И жизнь бесконечной казалась,
как моря прохладная мгла,
и самая малая малость
исполнена смысла была –*

*как песенка детства простая,
как моря далекая синь,
подобье библейского рая
среди обступивших пустынь...*

Это стихи о нашей бакинской даче. Их написал друг дочери Халыгбека, Аллочки, и друг нашей семьи, нередкий гость на нашей даче поэт Николай Хатунцев. В

воспоминаниях о нем поэт Алина Талыбова, возможно, не зная, какой даче он посвящал стихи, пишет: «...на старой даче, под вечный мугам Хазара, под фантастическими южными звездами некий мальчик ...читает Бальмонта и Блока взахлеб».

Вспоминается и моя литинститутская подруга Наташа, поэт и художник, которая провела у нас однажды целое лето, делала зарисовки дачи, мардакянских пейзажей, которые теперь висят на стенах моей квартиры в Хельсинки.

Мы любили нашу дачу и даже осенью приезжали туда по воскресным дням с друзьями, и всегда ходили на берег моря. Помню, однажды мы пришли туда после шторма, и у меня неожиданно написалось стихотворение «Дорога к осеннему морю»:

*Дорога, петляя инжировым следом,
вела от истоков притихших садов,
туда, где сливаются море и небо
в наплыве туманов, дождей, облаков.*

*Был берег омыт серебристой волною
и тайну недавнего шторма хранил,
созвездием рыб в накипевшем прибое,
ракушек свечением нежным дарил.*

*Казалось, парящие души тюленей,
белеющих млечно в прибрежном песке,
сливались с мелодией о спасении,
о вечной по морю и далям тоске.*

*Томительный день угасал понемногу,
был розовым лик восходящей луны,
и древности тень, воссияв у порога,
навеяла светлые детские сны.*

МОЙ ОТЕЦ ЭНВЕР МЕХТИЕВИЧ ДЖАФАРОВ

Мой отец был самым младшим ребенком в семье Ага Мехти. Когда он появился на свет, мать при родах скончалась. Сначала за ним ухаживали бабушка и старшие сестры, ну, конечно, при помощи няни и гувернантки.

В детстве мой отец, очевидно, учился в одной из бакинских школ, которых к тому времени было уже довольно много в городе, но в 1922 году вместе с братом Джафаром и сестрой Тамарой уехал в Германию. Там он, по всей видимости, учился в колледже, поскольку был еще маленьким. У нас, к сожалению, не сохранилось на этот счет никаких документов. Во всяком случае, он неплохо знал немецкий, как и его сестра Тамара. Иногда, в светлую минуту, он пытался что-то рассказать о своих берлинских годах, начинал: «Вот когда я был в Бе...» Но тут же замолкал. Произнести полностью название германской столицы он не решался, ибо мы учились в советской школе и могли проболтаться.

В раннем детстве он жил в просторном доме своего отца с няньками и прислугой. Но после революции все переменялось. Когда семейство после летнего отдыха вернулось из Мардакян с великолепной дачи в город, дом на Цициановской больше им не принадлежал. В него вселили чужих людей. Квартиру на втором этаже дали

семье Арутюнова, впоследствии не раз выступавшего против семьи бывших хозяев. Рядом, на другой половине нашего третьего этажа, через лестничную площадку, поселили несколько русских семей. Здесь жил сын коменданта города Владимир Луговский. Подружившись с моим отцом, он до конца оставался верным и преданным другом нашей семьи. Еще там жили Саня с матерью (не помню ее имени) и сестры Бидановы – Валя и Нина. С ними мы поддерживали дружеские отношения. Мать Сани помогала нам по хозяйству. Валя, ходившая перед экзаменами в русскую церковь неподалеку от нашего дома, однажды повела и меня, маленькую тогда девочку, с собой. Когда впоследствии это выяснилось, мне и Вале сделали нагоняй и запретили туда ходить...

Но я отклонилась. Мой отец по возвращении из Берлина снова стал учиться в Баку и наконец поступил в АЗИИ на нефтехимический факультет. Там он познакомился со своей будущей женой, моей мамой, которая училась на экономическом факультете. В девичестве она пользовалась успехом, за ней ухаживали, но мой папа победил. Он постоянно посылал ей записки, в которых высмеивал очередного ухажера, а делать это он умел. По окончании АЗИИ мой отец работал в нефтяной промышленности, начальником «Сабунчи-нефть». Но потом поменял профессию. Еще работая на «Сабунчи-нефть», он стал интересоваться современной геофизикой, очень увлекся и все свободное время посвящал ей. Несмотря на упорные занятия, все же потребовалось несколько лет, чтобы овладеть новой специальностью. Затем он поступил на работу в Институт геологии АН на скромную должность младшего научного сотрудника с небольшим окладом. Это сказалось на положении семьи, жить стало трудновато, но мама не жаловалась, а родственники помогали растить детей. Никто не сомневался, что, быстро защитив кандидатскую диссертацию, он достигнет больших успехов на научном поприще. Однако отец проработал в должности м.н.с. довольно долго. Сколько я себя помню, он разрабатывал рудное месторождение в Белокано-Закатальском районе, работая в экспедиции от Института геологии Академии наук. В те годы у отца было много трудных и неприятных моментов, он подолгу и часто нервничал, чувствуя, что над ним висит «тень прошлого», особенно после трагической истории с Касумбеком. Его не понимали, кого-то просто раздражали его образованность, культура, задевали ирония, тонкие шутки. Но зато его ценили геологи в центре, где он находил понимание, бывая в командировках в Москве. Отец подходил к тому критическому возрасту, когда о нем могли уже начать говорить как о «несостоявшемся», «неперспективном» ученом, так как он успел защитить только лишь кандидатскую диссертацию. Хотя отец много работал, у него были интересные статьи и разработки, его научный язык все признавали образцовым, вполне соответствующим уровню столичной профессуры. Но несмотря на это, его карьера, казалось, приостановилась. И вдруг случилось то, чего он, да и окружающие не ожидали. На одном из объединенных активов Академии Наук, на котором присутствовал президент Академии наук Гасан Багирович Абдуллаев, известнейший физик и яркий человек, мой отец выступил с докладом. Выступил только потому, что кто-то из утвержденных докладчиков заболел, а тема его доклада оказалась в русле специализации отца. Вопреки ожиданиям, Абдуллаеву, только недавно ставшему президентом, доклад чрезвычайно понравился и после актива отца вызвали в высокие инстанции и внимательно выслушали. Особенно заинтересовала руководство Академии гипотеза отца о тождестве Белоканского и Алтайского месторождений, доводы о значительности самого месторождения, его запасов в государственном масштабе.

Была выделена для него группа помощников и организована поездка на Алтай. С этих пор мой отец словно переродился, наконец для него наступили светлые дни, в институте с ним стали считаться. Он съездил в командировку на Алтай и подтвердил свою гипотезу о структурном тождестве двух месторождений.

В то время отец продолжал усиленно работать над докторской диссертацией, дня ему не хватало, он часто работал ночами. Было ясно, что материала для докторской у него более чем достаточно. Летом он уехал в очередную экспедицию в Белоканы и уже там заметил, что подниматься в горы ему стало трудновато. Осенью вернулся в город, исполненный надежд и планов, готовился к предстоящему выступлению на заседании Ученого Совета. Но осень, как назло, выдалась очень жаркая, бакинское солнце нещадно пекло, неожиданно для себя он начал задыхаться и вскоре умер от инфаркта. Так отец и не успел защитить докторскую, получить заслуживаемых регалий, настоящего признания. Очевидно, просто надорвался, слишком много работал.

Я запомнила его высоким, стройным, легким, в кожаной куртке, настоящим геологом, проводившим большую часть жизни в горах. И добрым. Он всегда материально помогал мне и давал понять, что мне нечего бояться. На его похоронах один из его коллег-геологов сказал: «Ты знаешь, твой отец был талантливым ученым и добрым, он часто помогал молодым писать диссертации...» Я знала, что у него имелись собственные ученики и подражатели из числа молодых геологов. Несмотря на разницу в возрасте, они тесно дружили с моим отцом, бывали у нас дома. И после его смерти они приходили к нам в дни годовщин его памяти, вспоминали о нем и, помню, замечательно копировали моего отца, изображая его речь, воспроизводя грассирование, интонации. Вспоминавшие о нем женщины подчеркивали, что он был видным, красивым мужчиной, может быть, самым красивым из всех Джафаровых, с правильными чертами лица. И похож он был, несомненно, на своего отца, Ага Мехти.

Помню, как в долгие зимние вечера отец сидел за микроскопом, работал. У него были большие канцелярские тетради, исписанные бисерным почерком, с его статьями и заметками, написанными прекрасным научным языком. Тетради эти, к сожалению, пропали, так же, как и его микроскоп. Еще были деревянные ящики с образцами разных горных пород, но и они, к сожалению, тоже таинственным образом исчезли после его смерти. Так что нам на память от отца ничего не осталось, кроме любви к литературе и искусству.

Всесторонне развитый человек, отец всегда интересовался литературой, много читал. Он отлично владел русским языком и часто беседовал о литературе с нашими гостями, с моими подругами и их родителями. У него была прекрасная память, и он читал наизусть стихи, которых знал немало. Он вообще интересовался поэзией, я часто видела в его руках популярный в то время литературный журнал «Юность», в котором он обращал особое внимание на стихи тогда молодых, но уже знаменитых Евтушенко, Вознесенского, Рождественского... Он легко запоминал их и потом читал нам наизусть, обычно летом, на даче, во время традиционных чаепитий под соснами. После смерти стариков отец взял на себя заботу о даче, даже сам работал в саду. И летом, в воскресные дни, обычно под развесистыми старыми соснами, где мы в детстве проводили время, называя этот тенистый уголок нашей Обломовкой, ставился большой стол с самоваром, и за чаепитием велись долгие беседы обо всем, в том числе и о литературе. Отец делился с нами прочитанным, и я помню, как он читал нам наизусть стихи Евгения Евтушенко. Мама моей подруги Джаны, по профессии врач-

отоларинголог, говорила, что ей доставляет удовольствие беседовать с моим отцом. Говоря по-русски, мой отец слегка грассировал, и его произношение напоминало выговор русского дворянина. Мой отец также отлично владел азербайджанским, тем более, что часто бывал в экспедициях в горах республики. Уезжая в геологоразведочную партию, он подолгу отсутствовал, и я в детстве не сразу привыкла к нему. Только когда он окончательно осел в городе и занялся научной работой, я стала видеть и слышать его. Мы все четверо – я, мама, папа и брат жили в одной комнате, которую нам уступили родные.

Как я уже упоминала, отец был ироничным по натуре человеком. Поэтому он особенно любил сатирические произведения литературы. Он познакомил нас в детстве с такими книгами, как «Дон Кихот», «Тартарен из Тараскона», «Фальстаф». Особенно он любил читать нам вслух «Тартарена из Тараскона» Альфонса Доде.

Я помню эффектные фразы из этой книги, которые во мне до сих пор звучат, голосом отца: «На шпагах, господа, на шпагах! Но не на булавах!»; или «А пуля ни с места», или «Это мой верблюд. Всех своих львов я убил на его глазах».

Знаменательно, что когда меня пригласили поработать в Переводческий центр во Франции, он оказался именно рядом с Тарасконом, и я попала в тот удивительный мир тарасконцев. Разгуливая там по берегу Роны, разъезжая по маленьким окрестным городам, я думала: знал бы мой отец, что я нахожусь в тех местах, о которых он нам читал. И я рассказывала милым работникам центра об отце, о наших детских чтениях, и они меня понимали. Помню, это была какая-то фантастическая поездка. Сначала я вылетела самолетом из Хельсинки в Париж, а затем следовало ехать поездом до Арля. Поезд приезжал поздно вечером и меня предупредили, что никого из работников уже не будет, но мне оставят ключи в условном месте. Когда я сошла на маленькой станции, оказалось, что и там никого нет, и такси нигде не видно. С трудом мне удалось разыскать машину, которая довезла меня по названному адресу. Я оказалась перед тяжелой средневековой дверью. Никого вокруг, сплошная темнота. Каким-то образом мне все же удалось войти внутрь и даже разыскать предназначенные мне апартаменты. Это оказался двухэтажный номер. На следующее утро солнце все преобразило, сделав мир ярким и веселым, я со всеми познакомилась, а потом отправилась знакомиться с городом. В Финляндии перед моим отъездом было сумрачно и холодно, а здесь цвели деревья, вокруг светилась солнцем и трепетала свежей листвой настоящая южная весна. И все, что было далее, вспоминается теперь как один прекрасный кинофильм. Прованс. Маленькие уютные города: Авиньон, Тараскон, Нимм, Марсель. Необычайные краски. Нежные, пастельные. В Авиньоне я попала в парк Рошэ де Дом, расположенный на холме, наверху которого увидела капище богини Астарты и вдруг вспомнила, что в Литинституте на переводческом семинаре переводила рассказ Агаты Кристи, так и называвшийся «Капище Астарты». Мне показалось это символичным... А в городе Тараскон мне не мог не представляться Тартарен, истребитель львов, и не простых, а атласских. «Лев Тараскона и лев Атласа лицом к лицу», – опять мне отчетливо слышалась интонация читающего эту фразу отца. Там я в каждом встречном, которые, как на подбор, все были коренастыми и плотными, видела бесстрашного Тартарена, вспоминая слова самого Альфонса Доде: «все французы немножко тарасконцы». В Арле я увидела корриду – бой быков, который в наши дни кое-где запретили. В тот день старинные узкие улицы были перекрыты, и все смотрели с балконов, как по одним из них с криками гнали быков, а по другим матадоры ловко скакали на лошадях. А сам бой быков происхо-

дил в построенном еще римлянами амфитеатре. Неповторимое, живописное зрелище. Перед началом боя всюду сновали продавцы широкополых шляп, и, поскольку по трибунам било спящее южное солнце, шляпы шли нарасхват.

В Марселе запомнилась морская поездка мимо замка Иф, где томился граф Монте-Кристо. Перед глазами прошли места, давно любимые, знакомые по книгам Александра Дюма и других великих французских романистов... Интересно, что Дюма когда-то побывал в Баку и посвятил ему главу в своей книге «Кавказ».

Еще помню, что отец, как и многие другие в то время, интересовался личностью Наполеона. У нас дома была книга историка Тарле «Жизнь Наполеона», и, помню, отец, беседуя о ней, читал нам стихотворение Лермонтова «По синим волнам океана». Он также рассказывал нам о Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонарроти, о других великих художниках эпохи Возрождения. Как ни странно, в Италии я так и не побывала, хотя она больше всего присутствовала в нашем домашнем мире, прежде всего, конечно, своей оперной музыкой.

Во время Великой Отечественной войны мой отец вместе с дядей Джафаром служили на границе с Турцией, оба были военными переводчиками, так как отлично владели немецким.

Однажды летом, в первые послевоенные годы, мы поехали к отцу в Белоканы. Дороги в то время были трудными. Помню, что мы долго ехали на трофейном виллисе через всю страну. Реки переполнялись водой, стекавшей в их русла с гор. В одном месте, переезжая реку, мы застряли на самой середине, и шофер попросил людей на берегу поискать какой-нибудь помощи. Пока ее искали, мы сидели в машине, и водитель пугал нас, говоря, что уровень воды поднимается и нас может затопить. В конце концов помощь прибыла, нас вытащил на сушу, взяв на прицеп, студебеккер, и мы поехали дальше. Дорога, несмотря на все сложности, радовала живописнейшими пейзажами и становилась тем интересней, что по пути мы заезжали в разные городки и там останавливались. Это был единственный раз, когда мне удалось увидеть Азербайджан во всей красе его просторов. И эту красоту я запомнила на всю жизнь.

Мы провели в Белоканах незабываемое лето. Рядом с домом, где мы жили, начинался лес, росли кусты ежевики и орешника. По ночам жутко выли шакалы. Нередко нас приглашали в гости к местным жителям, в семьи работавших с отцом людей. Шустрая и неутомимая ребятня радовалась нашему приходу, затевала игры, увлекала нас за собой. Правда, по возвращении маме приходилось нас мыть и вычесывать, спасая от вшей, которых было неисчислимое множество у местных детишек.

Помню, однажды я отправилась погулять в какой-то сад, где на высоченных деревьях росли груши под названием «nar armud» – гранатовые. Я с важным видом разгуливала, декламируя про себя стихи, рассуждая о высоких материях, как вдруг, откуда ни возьмись, появился маленький бычок, который сразу же устремился ко мне, наставляя рога. Весь мой пафос сразу же улетучился, я забыла про все высокие материи и почувствовала себя маленькой беззащитной девочкой из тети Сариных сказок, представшей перед лицом страшной опасности. Вокруг никого не было, и я изо всех сил помчалась от него прочь. На мое счастье, вскоре появился какой-то крестьянин и остановил догонявшего меня бычка. Такие у меня, городской девочки, случались там встречи. Я не смогла укротить бычка, найти с ним общий язык, что, конечно, легко бы сделала любая местная девчонка. И самое обидное, что весть о моем позорном бегстве к вечеру распространилась по всей деревне, и мне больше не разре-

шали разгуливать в одиночестве.

Миновало лето, и мы засобирались обратно в город по той же самой тряской, с подъемами и спусками, нелегкой в те времена дороге. Но это была дорога домой.

Помню, что дома, работая по вечерам, отец много курил и пил крепкий чай. Мы вчетвером, как я уже говорила, жили в одной комнате. Поэтому я близко наблюдала за работой отца, когда ложилась спать. А большую часть времени после школы я проводила в зале вместе с тетушками или в кабинете Рагимбека, где мне разрешалось делать уроки, пока он отсутствовал.

Однажды, когда я была еще маленькой неразумной пионеркой, отец заговорил со мной о Боге. Я, конечно, стала отрицать его существование, но отец прервал меня, сказав:

– Вот ты еще маленькая, ничего не познала и уже все отрицаешь, а великие люди, такие, как Леонардо да Винчи, верили в Бога...

После того, как тетушки и дядя Джафар с супругой переехали в свои новые кооперативные дома, мы остались одни в нашей, теперь большой, квартире. И отец получил возможность спокойно работать. Но я в то время уже закончила университет и уехала учиться в Москву, в аспирантуру. Узнав о внезапной кончине отца, еще далеко не старого, я была сражена неожиданным горем.

КАК Я ХОТЕЛА СТАТЬ ПЕРЕВОДЧИЦЕЙ С АНГЛИЙСКОГО

Я, наверно, с детства хотела стать переводчицей, поначалу даже не осознавая этого, как бы подспудно жившего в моем подсознании желания. Я слушала, как мои тетушки и дяди говорили то по-французски, то по-немецки, и мне хотелось овладеть этими языками, понимать их разговоры, участвовать в них. Может быть, этому еще способствовала и тогдашняя бакинская атмосфера, многонациональная, не чуждая разноязычью...

Какие-то французские фразы и словечки уже в детстве засели в моей памяти. И когда позже я немного подучила язык и попала во Францию, то вскоре научилась объясняться со старушками-француженками на остановках автобусов или с продавцами в магазинах.

Но учиться меня отдали в 134-ю школу, где иностранным языком оказался английский, а не в 23-ю, где преподавался французский, хотя мне было бы гораздо легче выучить его. Однако мне сразу понравился и английский язык. Первой нашей учительницей английского была Софья Марковна Богот, преподававшая язык очень артистично. Говоря, например, «it is very cold», она начинала дрожать и передергивала плечами как бы от холода, и к тому же, ужасно картавила. Мы, дети, с удовольствием ей подражали.

Школу я окончила с золотой медалью. Но тогда я еще и не думала о переводческой стезе и поступила учиться на физический факультет АГУ имени С.М. Кирова. В ту пору физика представлялась самой поэтичной профессией, и даже по всему СССР шли споры о том, кто выше – физики или лирики. Училась я старательно и окончила институт, как и школу, успешно, с красным дипломом и со специализацией «теоретическая физика». Потом я работала младшим научным сотрудником в Институте физики Академии наук Азербайджанской ССР, а затем опять училась, уже в целевой аспирантуре Московского университета, на кафедре физики полупроводников, под руководством профессора В.Л. Бонч-Бруевича. А после окончания аспирантуры вер-

нулась в Баку, в тот же Институт физики. Все как будто шло успешно, но мне все время казалось, что настоящее мое призвание совсем не теоретическая физика, а «лирика», моя дорога иная, и она неудержимо влекла.

Все это время я продолжала изучать английский самостоятельно, а потом поступила на заочный факультет АЗПИЯ. После его окончания какое-то время я работала переводчицей на нефтяной платформе. Тогда мне хотелось стать переводчицей с английского. Как я ею стала, это отдельная история.

Во время учебы в ИнЯзе я решила на летних каникулах устроиться работать гидом, чтобы применить на практике свои знания, улучшить свой разговорный язык. В советское время это было чрезвычайно трудно даже дипломированным переводчикам, не то, что студентам. К тому же иностранцев в Баку тогда находилось довольно мало. Но у меня перед глазами имелся удивительный пример непоколебимой уверенности в себе. Моя бывшая одноклассница каким-то невероятным образом устроилась работать в «Дом дружбы», толком не владея, как потом выяснилось, ни одним иностранным языком.

Как-то однажды мы снимали вместе с ней квартиру в Москве, и я не переставала удивляться ее пробивным способностям. Она обычно подолгу говорила по телефону со своими знакомыми, и я невольно слушала эти разговоры. Уверенным голосом она бойко рассказывала о себе, что владеет тремя основными иностранными языками (английский, немецкий, французский), а теперь еще изучает итальянский и испанский, так как они похожи. Но я-то знала уровень ее знаний и не переставала удивляться, как ей удалось устроиться в «Дом дружбы» с дипломом историка и с почти нулевым знанием иностранных языков. И потому я с удивлением наблюдала самоуверенный и напористый стиль ее поведения.

Однажды она сообщила, что наша квартирная хозяйка вздумала, видите ли, повысить арендную плату и в связи с этим собирается навестить нас в субботу. Я заволновалась, так как особыми средствами мы не располагали, только тем, что присылали родители, а подыскать новую квартиру за короткий срок в Москве было в то время очень непросто. Но вот настала суббота, и пришла хозяйка. Моя приятельница пригласила ее в свою комнату, а я слушала их разговор, не решаясь войти. Она решительно и громко стала уверять хозяйку, что повысить квартплату невозможно, обвиняла ее в негуманности, приводила доказательства нашей бедности и в конце концов настолько пристыдила хозяйку, что та стала извиняться и смущенно ретировалась. Дальнейшее мое общение с напористой подругой и наблюдения за ее поведением произвели во мне заметные перемены. И я, решив брать с нее пример, смело направилась в Интурист просить работы переводчицы.

Когда я вошла и заявила, что хочу летом поработать переводчицей, начальник объяснил мне, что работы нет даже на нефтяной платформе. Я уже развернулась в сторону выхода, как вдруг зазвонил телефон, и начальник, прослушав что-то, вдруг закричал: «Девушка, девушка, стойте, не уходите!» Я вернулась. «Вы знаете, только что с платформы уволили переводчика. Идите быстрее, оформляйтесь. Вы ведь владеете английским?» Я, ни секунды не колеблясь, кивнула, вспомнив свою знакомую. Потом стала оформляться и старалась вести себя уверенно и непоколебимо.

Наконец настал первый рабочий день. От гостиницы «Старый Интурист» микроавтобус отвез нас на платформу, где мы лицом к лицу встретились с иностранными специалистами. Тут я уже готова была раскаться в своей самоуверенности, но на-

строение мое существенно повысилось, когда я узрела в числе переводчиков нашего институтского учителя Виктора Ивановича Муху. Началось знакомство, общие разговоры, в которых блистал Муха. Он, ко всему прочему, еще и хорошо разбирался в нефтяном деле. Мне же похвастаться было нечем. Помню, что поначалу я переводила вместо «ойл» «баттер». И пряталась за широкой спиной Мухи, стараясь запоминать и усваивать нефтяную терминологию. К счастью, на платформе шли подготовительные работы, и мы, в основном, беседовали с инженерами и изучали машинное отделение, вышку и другие достопримечательности нефтяной платформы.

Виктор Иванович оказался добрым человеком и всячески помогал мне, заметив мою неуверенность и неопытность. На платформе, которая на самом деле представляла собой комфортный корабль, нас кормили обедом, а также устраивали кофепития и чаепития. Так как платформа пока стояла у берега и особых работ не велось, за чашкой кофе шли долгие беседы на всевозможные темы. К концу рабочего дня настроение наших инженеров как-то заметно повышалось, они становились веселыми и оживленными, возможно, что-то горячительное добавляли в чай – все-таки это были не только нефтяники, но отчасти и моряки. «О-о-о...», – многозначительно произносили они, глядя в мою сторону. Один из них, высокий фрицеобразный блондин, однажды сделал даже порывистое движение в мою сторону, и я от смущения опрокинула на него поднос с чаем, который в это время несла. После этого подобное поведение прекратилось.

Шло время, я набиралась знаний, опыта, запомнила необходимую терминологию, язык мой стал более гибким и свободным. И я уже меньше стала волноваться в преддверии переговоров с начальством. Чаще всего приходил замначальника треста Морнефть Дуэль. Старший инженер, мистер Хааге, обычно жаловался, что нет того или сего, необходимо то или се, а Дуэль, со своей стороны, заверял, что все будет. Внешне он являл полную противоположность своей фамилии и нисколько не походил на дуэлянта: маленький, кругленький, в подтяжках. Однажды он особенно долго заверял собеседников, многозначительно кивал головой, изображая серьезность и деловитость, и вдруг среди длинной речи неожиданно чихнул.

Я перевела, что мистер Дуэль обещает все наладить, и добавила, что он даже чихнул, а это по местным приметам означает, что все вправду исполнится. Мои инженеры грохнули от хохота. «Девушка, в чем дело? Почему они смеются?» – спросил меня недоумевающий Дуэль...

По мере того, как я овладевала языком, отношения мои с инженерами налаживались, они почему-то стали принимать меня чуть ли не за родственницу и стали просить, чтобы я по вечерам не оставляла их, а сопровождала в прогулках по городу, присутствовала на их посиделках в ресторане; обычно они посещали самый прохладный ресторан в Английском парке, который находился наверху, на одном уровне с памятником Кирова. Для меня это стало лишней возможностью улучшить знание языка, но чтобы мне не было скучно с ними, я стала приглашать с собой своих подруг. Настроение инженеров заметно улучшилось, они больше не чувствовали себя одиночками.

Однажды в воскресенье мы поехали на пляж. Я пригласила свою ближайшую подругу Джану, а она прихватила приехавших на лето из Питера студентов режиссерского факультета, а также свою бывшую однокурсницу Адочку Сафарову. И в такой большой и шумной кампании мы устремились в сторону Бильгя. По дороге стали разыгрываться всевозможные театральные этюды, все старались показать свои ар-

тистические возможности. Джана всюду копировала мистера Хааге и других наших подопечных, благо, что они не понимали по-русски, мы громко хохотали, они тоже, и так вся компания приблизилась к лучшему когда-то в Бильгя дикому пляжу КГБ, который был открыт, как и другие пляжи.

«Мистер Хааге окончил два института, и он не может сесть за стол, прежде чем не испросит разрешения», – разглагольствовала Джана, делая двумя пальцами жест, каким мистер Хааге брал салфетку и затыкал ее за воротник. Все громко хохотали, наши инженеры и мистер Хааге тоже, не подозревая, о чем и о ком идет речь. И тут вдруг наша машина приблизилась к какой-то неожиданно возникшей будке и нас остановили. «Кто вы такие? Куда направляетесь?» – раздался грозный оклик. Все сразу замолкли, шофер попытался что-то объяснить бдительной охране. Наконец я услышала вопрос: «Кто переводчица?» Меня попросили в будку и разъяснили, что въезд на пляж КГБ иностранцам строго запрещается.

Несколько притихшие, мы свернули в другую сторону и поехали дальше, благо, что пустынных пляжей без всяких границ и охраны в то время на берегу хватало. Мы провели чудесный день, пристроившись возле какого-то пляжного кафе, где подавали осетрину на вертеле.

Потом мы вернулись в город, работа моя продолжалась. Но события дальше стали развиваться не вполне объяснимым путем. У меня работы все прибавлялось и прибавлялось. Я осталась чуть ли не единственной переводчицей, что становилось нелегко. Надо было то спускаться в машинное отделение, то влезать на вышку за стариком-англичанином, то спешить на переговоры в «Морнефть» к начальнику Левитину. И тут я вдруг заметила, что Муху больше не приглашают на помощь, что его избегают, с ним стараются не разговаривать. И если я сидела за чашкой кофе с мистером Хааге, и подходил и присаживался Муха, то, выдержав паузу приличия, мистер Хааге просил его извинить и удалялся. Однажды, когда я занималась переводом, в гостиную вбежали электрики и сказали, что им тоже нужен переводчик. Муха тут же вскочил с места, но те извинились и сказали, что им нужна я, так как я физик по специальности. Это был уже явный бойкот. И Муха грустно сказал мне: «Видите, Таира, они меня больше не используют, избегают. Может быть, оттого что после работы, когда нас привозят к Интуристу, я задерживаюсь и разговариваю с тамошним милиционером, потому что он мой сосед. Они что-то заподозрили и теперь мне не доверяют». И действительно, Мухи вскоре, к моему большому разочарованию, не стало на корабле. Да и других переводчиков почти не приглашали. Вся тяжесть работы пала на меня. Но уже приближалась осень, и мне вскоре надо было уезжать в Москву, в Литературный институт. Мне пришлось попрощаться с инженерами к их великому огорчению.

Так я стала переводчиком с английского, усовершенствовала свои знания языка и даже продолжила учиться впоследствии на Высших курсах переводчиков «Интуриста» в Москве.

В МОСКВЕ

В Москве я познакомилась с лучшими из переводчиков с английского. Среди преподавателей Высших курсов был один из ведущих работников московского «Интуриста», который пользовался особым расположением слушателей, Сергей Георгиевич Салтыков. Он происходил из дворянского рода Салтыковых. Как шутил он сам,

не из того рода, из которого Салтыков-Щедрин, а из того, из которого Салтычиха... Он блистал остроумием. Так же блестяще владел он английским, а помимо того, был очень артистичен, музыкален, сочинял замечательные романсы и пел их под гитару в кругу друзей. Сергей Георгиевич объехал почти все страны, и его самой известной в кругах переводчиков стала песня «У меня в душе восточные базары...», которую мы все любили распевать. Я помню только:

*Галка черная, дарю тебе считалку,
она выручит тебя в беде не раз,
у меня в душе восточные базары
и залитый солнцем Гондурас...*

Я не знаю, когда и в связи с чем Сергей Георгиевич сочинил этот романс, который стал гимном московского «Интуриста». Но я припоминаю, как он сочинил другой романс буквально у нас на глазах. Мы шли апрельским днем по улочкам, переулкам, проходным арбатским дворам, которые Сергей Георгиевич знал наизусть, к нему домой, на Плющиху, отмечать мой день рождения. Моросил нескончаемый дождик, и пока мы шли, Сергей Георгиевич вслух сочинял мне в подарок песню. Мы потом подпевали ему:

*Рыцарь, белый весь, на белой лани
дождиком апрельским моросил.
У реки твоих воспоминаний
он фиалки нежные сложил.*

*Расцелуй российское забвенье,
тишиной оклики соловья
и отведай горького варенья
от тщеты апрельского дождя...*

К сожалению, я не помню слов дальше, так же, как и не помню всех слов нашего гимна. Только тогда Сергей Георгиевич, тонко чувствовавший настроение других, понял мое грустное московское одиночество вдали от дома и родных и точно передал его в словах своей песни в тот пасмурный, облачный апрельский день моего рождения.

Он знал о моем тогдашнем увлечении старинными русскими городами, начиная с Владимира и кончая Угличем и Ярославлем, который мне особенно понравился. Попасть в этот старинный город мне посчастливилось на машине друзей, с которыми мы проехали все «Золотое кольцо». Там, под Ярославлем, у моих друзей были родственники, жившие в маленьком умирающем селе на противоположном берегу Волги. Направляясь туда, мы задержались в Ярославле, который произвел на меня неизгладимое впечатление. Оно оказалось таким ярким, может быть, оттого, что мы въехали в город ранним вечером, когда тихие улицы почти обезлюдили. Это был старинный купеческий город как бы с ожившего холста художника прошлого века. В центре, если идти по набережной, а потом подняться по берегу вверх, стояла беседка Островского, так ее называют, хотя при жизни знаменитого драматурга здесь никакой беседки не было. К ней вела лестница. А из беседки открывался такой замечательный вид на Волгу, на заречные. в синей дымке, дали, что уходить отсюда не хотелось...

Город казался опустевшим и можно было пофантазировать о жизни персонажей Островского на этих старых живописных улицах с купеческими особняками, деревянными домами, резными наличниками и зелеными палисадниками. Я даже написала восторженные стихи о Ярославле. Приведу здесь несколько строф:

*А на набережной, на набережной
так красивы особняки,
что хотелось погладить их бережно,
чтоб в реальности ощутить.*

*А на набережной, на набережной,
где аллея старинных лип,
пробужденный фантазией сказочной,
ряд видений старинных возник.*

*Чинным рядом гуляет купечество,
дамы смотрят долго в лорнет,
как бы вдруг не прошел незамеченным
молодой и стройный корнет.*

*В старом гроте на бреге высоком
вот уж тысячи лет подряд
ждет студенточку синеокою,
ждет, волнуясь, студентик в очках.*

*Не иначе как в городе этом
поселился сказочный дух,
преломля все в вычурном свете,
заставляя чудес вдохнуть.*

Дальше уже не помню, как мы переправились через Волгу вместе с машиной, как добрались до места. Деревенька, куда мы приехали, оказалась маленькой, с множеством заколоченных домов, и стояла она среди прекрасных нетронутых лесов, с их зеленым густым шумом, напоминающим морской прибой. Здесь мы остановились в доме их родственника, кажется, председателя совхоза, где провели дня два. Познакомились за это время с научным центром имени Циолковского, а также с маленькой нетронутой церквушкой и с ее необычайно интересным священником. Перед нами предстал старичок в толстовской рубаше, с косицей. Он был веселый, ему прислуживали бабки, которые готовили льняное масло и прочее. Он называл их по именам: бабка Марья, бабка Анисья и так далее. Священник этот мечтал съездить на русский север, в Соловецкий монастырь, и ему требовался для этого фотоаппарат. Мои друзья отдали ему свой хороший по тем временам фотоаппарат, и он от радости подарил всем на прощание небольшие иконы, даже мне.

Но я отклонилась от темы... Помню, как иногда в те годы мы собирались в доме Салтыковых, накрывали все вместе стол – мы, это его друзья и почитатели, и потом он брал висевшую на стене гитару с красным бантом и начинал петь свои романсы.

Мы упрасивали его, чтобы он опубликовал их, сделал достоянием широких кругов, как в то же самое время делали Окуджава и другие, но он никогда не соглашался, считая свои песни забавой дворянского отпрыска. Ведь каждый из них, по его словам, обычно обладал стихотворными способностями, вовсе не думая публиковать

сочиненные на досуге стихи. Он очень хорошо подбирал музыку, а скорее, сам сочинял ее к своим словам, так, что другой мотив трудно было бы себе и представить.

Написав это, я вдруг подумала, что прошло уже немало лет, и, может быть, за это время имя Салтыкова могло появиться в печати. Заглянула во всезнающий интернет и – потрясение! – обнаружила, что уже после смерти его стихи появились в журнале «Новый мир» с предисловием Андрея Битова, который писал не только о замечательных песнях Салтыкова, но и признавался: «Он учил меня Москве. Он знал в ней каждый камень и каждую дырку».

Оказывается, петь свои песни Салтыков начал раньше многих известных бардов, еще в 1954 году. Мое же знакомство с ним произошло в семидесятых годах. Среди опубликованных стихов я нашла знакомые мне, но еще больше прекрасных новых, написанных, очевидно, позднее стихов. И еще стали возникать в памяти крылатые фразы из его старых песен, окрашенные его негромким задушевым голосом, ироничной интонацией:

*Не поите меня пивом, я ведь рыцарь,
Мне ведь пьяному не вспрыгнуть на коня.*

Или:

*Вымойте пол у себя на душе валерьянкой.
В чистую водку поставьте лиловый цветок.*

Или:

*Укроп, сельдерей и маленький крест деревянный
На могиле моей проросли.*

*Не говори с водою о любви,
Ей не до нас, она бежит по трубам.*

И еще его прекрасный романс, который мы много раз слушали:

*В далеком городе, где все чему-то рады,
Где задранным мостом изломан горизонт,
Мне одиночества ночную колоннаду
Разрушила любовь, печальная, как сон.*

*И крики петуха, и искры водопада,
И брошенный бокал, и запах спелой ржи
Услышал снова я, и то была награда
За муки – снова жить, в обмен твоей любви.*

*И запертый ларец желаний непристойных
С поклоном поясным тебе я протяну.
Над тихую водой в молчании спокойном
Услышать можешь ты, как я тебя люблю.*

К сожалению, я не могу воспроизвести мелодию, которая так важна в этом романсе, но я рада, что могу вспомнить талантливого поэта, отдать ему дань в этой

книге. Увы, я не знала, что Андрей Битов искал поклонников Салтыкова, чтобы попытаться найти способ всем вместе вспомнить о нем, опубликовать его стихи. Хотя я и встречалась с Битовым на разных мероприятиях, когда стала переводчицей с финского, так как он был председателем Пен-клуба, но о Салтыкове он, к сожалению, тогда не упоминал. Что ж, как пишет Битов, не изведаны пути к славе.

Да, в те годы Москва могла похвалиться множеством бардов, и, несмотря ни на какой советский застой, это было довольно интересное, поэтическое и песенное время.

Салтыков учил нас, новичков, как надо работать с большими группами американских туристов. Так как невозможно отвечать на вопросы всех подряд, надо притвориться, что ты тоже один из них и на вопрос: «Вы не знаете, куда нам надо идти?», ответить: «Мэм, кажется, в ту сторону...». Однажды мы наблюдали, как Сергей Георгиевич развлекал весь огромный ресторан, заполненный американскими туристами, на ВДНХ. Он стоял на сцене как конферансье и буквально смешил их, импровизируя, рассказывал, шутил, словно настоящий артист, но с интеллектуальным уклоном.

И все-таки я не стала профессиональным гидом-переводчиком. Поскольку вместе с языками с детства меня увлекала литература, в конце концов я поступила учиться в московский Литературный институт имени А.М. Горького на факультет прозы. А в Литературном институте существовал семинар по художественному переводу под руководством Валентины Александровны Дынник, которая владела в совершенстве несколькими языками, и в ее семинаре учились переводчицы с разных языков. Я тогда пробовала переводить художественную прозу с английского и для перевода поначалу выбрала, помнится, рассказы Агаты Кристи. Позже я стала переводить стихи американского поэта и певца Рода Маккуина. На него мое внимание обратил Салтыков и дал мне его сборник, из которого я выписала понравившиеся стихи и перевела. Приведу здесь вольный перевод или, скорее, стихотворение, навеянное песней Рода Маккуина:

*Я из плена твоих улыбок и слов
улетаю на Север дальний,
в белотканой стране из туманов и снов
позабить твой голос печальный.*

*Вознесут меня крылья волшебных грез,
верноподданных слуг влюбленных,
в край придуманный, где ни вздохов, ни слёз,
ни речей твоих нет смятенных.*

*Он за синюю далью, за тысячью верст,
за пределом всего земного,
в нем ни времени нет, ни пространства нет
и ничто – вот его основа.*

*Улетая над морем в далекий край
буду думать, что мне осталось
верить только себе, ни о чем не знать,
но и это – счастливая малость.*

Одновременно я писала свою прозу, которая печаталась в Баку в журналах, издала два прозаических сборника. Тогдашняя моя проза написана преимущественно

на бакинские темы, сюжеты ее связаны с жизнью Баку. Один из рассказов, «На башенной улице», посвященный Мардакьянам, позже перевели на финский язык, и в 1986 году он появился в финском журнале «Култур вихкот», редактором которого был Ансси Синнемяки.

В ту пору в Москве я жила в коммунальной квартире в семизэтажном доме сталинской постройки, который находился в тихом Померанцевом переулке, соединяющим Пречистенку и Остоженку. Дом был угловой, выходил на Пречистенку. В этой связи мне почему-то вспомнилось, что и Мамед Эмин Расулзаде когда-то жил в Москве тоже на Пречистенке. Мне очень нравился этот многое и многих помнящий район еще и потому, что отсюда можно было пешком переулками выйти на Новый Арбат или, идя по Остоженке, дойти до Третьего Зачатьевского переулочка, в котором Анна Ахматова жила недоброй осенью 1918 года и потом написала: «Переулочек-переул... Горло петелькой затынул. Тянет свежесть с Москва-реки...». Рядом находился Зачатьевский монастырь, а дальше переулочек выходил на набережную, к свежести Москва-реки. И совсем рядом в девяностые поднялся воссозданный Храм Христа Спасителя, хорошо видный из кухонного окна нашей квартиры.

У моей соседки была другая квартира, за городом, и она наезжала сюда изредка, проведать: все ли в порядке, оплатить коммунальные счета. Поэтому я жила в одиночестве, работала, гуляла по арбатским переулкам, иногда пешком доходила до ЦДЛ (Центрального дома литераторов), где часто проходили интересные литературные вечера.

Особенное удобство своего места жительства я оценила, когда работала переводчицей СП СССР, который находился рядом с ЦДЛ.

Увы, всему хорошему однажды приходит конец. И пришло время продать эту квартиру в престижном районе, разъехаться с соседкой. Выходило, что после продажи каждая из нас могла купить отдельную квартиру, да еще оставались деньги на жизнь. Но завистливой судьбе и, видимо, недобрым людям угодно было, чтобы при продаже я потеряла часть денег на покупку уже подобранной однокомнатной квартиры.

Каким-то путем, неведомым мне, но хорошо знакомым жуликам и гипнотизерам высокого класса, меня провели, причем непонятно, банк ли, юрист ли или все они вместе взятые. После продажи вместо денег я осталась с большой неразгаданной загадкой, неким кроссвордом, над которым надо было ломать голову. И осталась без квартиры, выписанная из Москвы. Времена были тревожные, и друзья успокаивали меня, говоря, что могло быть и хуже, хорошо еще, что в живых оставили. Приятельница свела меня с опытным юристом, специалистом по подобным уголовным делам, который, выслушав все, развел руками и сказал: «Да, так все проделано, что остается только шляпу снять...» А ведь он раньше работал начальником милиции, был опытным следователем. Подавать куда-то жалобы было небезопасно, так как мне намекали на длиннорукую мафию и тому подобное, к тому же заниматься долгими судебными передрыгами при том, что я выписана из столицы, у меня не было ни сил, ни желания. И я решила забыть обо всем и заняться, как прежде, переводами с финского.

С тех пор прошло несколько лет. Приезжая в Москву, я теперь останавливаюсь в отеле, где могу пробыть совсем недолго, так как гостиницы очень дорогие.

Поэтому и на презентациях своих новых переводов, которые проходили на международных книжных ярмарках «Нон-фикшн», а их было несколько, я никогда не за-

держивалась. И все-таки грустно, что после того, как я прожила в Москве почти сорок лет, теперь оказалась подло и грубо выброшена из столицы. Хотя тут надо винить и собственную доверчивость. Времена, как я уже сказала, в Москве тогда были непростые, а я оказалась к ним неподготовлена, живя уже в размеренной, спокойной Финляндии. Соседка моя сразу меня предупредила: «Вы лох, вас обманут». А я тогда не знала даже значения слова «лох». Это уже потом, через Интернет, я основательно познакомилась с криминальной обстановкой Москвы, со всеми ОПП и терминологией и узнала, что такое лох, особенно когда мне вскоре пришлось переводить книги молодых финских писательниц Софии Оксанен и Розы Ликсом, обладательниц престижной премии «Финляндия». Но было уже поздно, после драки, как говорится, кулаками не машут, и еще есть такое выражение: «поезд уже ушел».

КАК Я СТАЛА ПЕРЕВОДЧИЦЕЙ С ФИНСКОГО

По окончании Литературного института я встретила в Москве своего будущего мужа, по национальности финна. Мне понравился мелодичный певучий язык, непохожий на все другие, и я почти сразу начала изучать его. Поехала в Карелию, где в некоторых школах, как мне сказали, преподается финский язык. Там я накупила учебников и по возвращении в Москву принялась, что называется, «грызть гранит науки». Язык оказался сложным, но я не сдавалась. После напряженных занятий я обычно отправлялась в открытый бассейн «Москва», чтобы плаванием восстановить умственные способности.

Я стала время от времени наезжать в Карелию, где еще оставались носители языка. Там я познакомилась и подружилась с Хельми Генриховной Ройне, «американской финкой», высокой, с прямой осанкой, очень интересной пожилой женщиной. У американских финнов своя судьба, своя история. Хельми Генриховна рассказывала мне, как попала в Соединенные Штаты, как потом ее вместе с мужем, как и многих других американских коммунистов, завлекли в СССР, после чего мужа репрессировали, а ей с сыном удалось переехать в Карелию.

Таковы были мои начальные попытки овладеть финским языком. Потом оказалось, что в нашем родном Литературном институте раз в пять лет набирают группу переводчиков финской литературы. Но студентов набирали, главным образом, из Карелии, Эстонии и других районов, где проживали родственные финнам народы этой языковой группы.

Финскую группу вел Владимир Николаевич Богачев, знаменитый переводчик нашумевшей в советские годы книги «Четвертый позвонок» Мартти Ларни. Богачев преподавал в институте также теорию художественного перевода, и мы были знакомы. Я пришла к нему на занятие, и он разрешил мне, как бывшей студентке, посещать его семинар. Далее все пошло как бы по давно предначертанному пути.

Однажды в Москву из Финляндии приехал живой классик финской литературы Вейо Мери, и Богачев, переведший его повесть «Манильский канат», пригласил своих семинаристов на встречу с писателем. Но при этом предупредил, что необходимо испросить разрешение в Иностранной комиссии Союза писателей у куратора по Финляндии Валентины Морозовой. Я пошла к ней и встретила улыбающуюся женщину с большими синими глазами. Узнав, что я окончила Литинститут, она сразу же разрешила мне присутствовать на встрече. Я пошла не одна, ко мне присоединилась известная поэтесса и переводчица Алла Ахундова.

Но Алла – это особый разговор. Она стала моим кумиром, наставником и вдохновителем. Я по природе своей была нерешительной, стеснительной – она же воодушевляла меня, учила добиваться намеченной цели. Она говорила мне, что надо настойчивей стучаться в двери издательств, несмотря ни на что, ни на погоду, ни на самочувствие, каждый день заходить в одну из редакций, заводить связи, поддерживать отношения, иначе ничего не добьешься. Когда я познакомилась в Москве с Аллой, жизнь моя как бы преобразилась – ее талант, ее личность, необычайный свет, который она излучала, распространились на меня, поднимая настроение и наполняя жизнь смыслом...

Итак, мы вместе с Аллой и ее супругом пришли в старинный «дубовый», как его называли и называют, зал ресторана ЦДЛ, где Владимир Николаевич устроил встречу с Мери. Вейо Мери, последний живой классик финской литературы, произвел на нас неотразимое впечатление. Об этом я писала в статье «Литературные встречи в Хельсинки». После этой встречи я решила собрать все оставшиеся непереуведенными произведения Мери, перевести их и опубликовать. Я так и сделала. Когда состав получившегося сборника сложился, я отправилась в редакцию журнала «Иностранная литература» со своей заявкой. Я пришла к знаменитой в то время переводчице Татьяне Алексеевне Кудрявцевой. Она вежливо встретила меня и, сказав, что план журнала полон, посоветовала обратиться в только что открывшуюся редакцию «Библиотеки Иностранной литературы». Я пошла туда и познакомилась с заведующим Валерием Перехватовым и редактором Аллой Николаевской, с которой меня впоследствии связывали теплые дружеские отношения. В этой серии в 1984 году вышла моя первая переводная книга – «Обед за один доллар» Вейо Мери. Предисловие к ней любезно согласился написать сам автор.

Я не могу забыть свой первый перевод, над которым долго работала. Это был, разумеется, рассказ о любви «Она и я» финского классика Арвида Ярнефельта. Я выбрала для перевода рассказ Ярнефельта еще и потому, что впервые об этом замечательном писателе мне рассказал классик финской литературы Вейо Мери. Однажды Союз писателей СССР пригласил большую делегацию финских писателей, среди которых был и Мери. Нас повезли на экскурсию в Ясную Поляну, так как всем хотелось увидеть усадьбу, где жил и творил великий Лев Толстой. Когда мы обходили дом, Вейо обратил мое внимание на висящий в уголке портрет финского писателя Арвида Ярнефельта и рассказал о нем. Ярнефельт происходил из очень известной аристократической семьи. Один из его братьев – знаменитый художник, другой – композитор, а сестра – жена великого композитора Яна Сибелиуса. Ярнефельт был не только переводчиком произведений Толстого, но и его последователем, состоял с ним в переписке. Следуя толстовским идеям, он завел земледельческое хозяйство, стал учить крестьян грамоте. Поэтому герой рассказа «Она и я» тоже владелец усадьбы, землю которой обрабатывают торпари (безземельные крестьяне-арендаторы). В рассказе повествуется о любви богатого хозяина, который влюбляется в красивую молодую женщину, жену одного из торпарей. «Она и я» – строгий, в гамсуновском духе рассказ. Опубликовала его газета «Литературная Россия» в рубрике «Зарубежный рассказ». Ею тогда заведовал Юрий Грибачев, сын известного главного редактора журнала «Советский Союз». Юрий в молодости принадлежал к когорте «золотой молодежи» Москвы. Это был всесторонне образованный человек, внешне напоминавший героев Джека Лондона, англоязычный, кутивший трубку. Рассказ «Она и я» стал первой моей публикацией, как переводчицы с финского. Впоследствии «Лите-

ратурная Россия» печатала и другие мои переводы рассказов финских писателей.

Когда я достаточно изучила финский, Валентина Сергеевна стала приглашать меня работать с финскими писательскими делегациями. Это, пожалуй, один из самых интересных периодов в моей жизни. Из Финляндии приезжали лучшие писатели, я знакомилась с ними, они мне дарили свои новые книги для рецензирования. Ночами я много читала и писала рецензии, а днем работала переводчицей, когда приезжали делегации или проходили международные книжные ярмарки. Скоро у меня появилось много друзей среди финских писателей и издателей, которые обычно держались очень просто и демократично.

Надо отметить, что в то время наладилось и расширялось культурное сотрудничество между Союзами писателей обеих стран, поэтому и многие наши писатели ездили по обмену с выступлениями в Финляндию. Вскоре был заключен договор о том, что начинающие литературные переводчики с обеих сторон, и финские, и советские, могут на полгода поехать в страну, чтобы улучшить свои языковые знания, познакомиться с обычаями, природой страны, с издательствами и писателями. Это знакомство, конечно же, необходимая сторона переводческой работы. Не побывавшие в стране переводчики легко могут допустить ляпсусы в своей работе. Помню, я в процессе перевода рассказов встречалась с тем, что почту финские почтальоны обычно бросают в щель в двери квартиры, чего никак не могла себе представить, пока не увидела это сама. Встречались и другие тонкости и нюансы, которые можно было понять и ощутить, только соприкоснувшись с реальной финской жизнью, близко познакомившись с финнами.

И вот Союз писателей Финляндии мне, как начинающей переводчице, прислал приглашение на полугодовые курсы, причем мне предоставлялось общежитие, небольшая стипендия и планировалось посещение различных лекций и мероприятий. Я чрезвычайно этому обрадовалась, но очень скоро поняла, что меня ждут всевозможные препятствия. Оказалось, что оформление поездки пойдет по линии парткома Профкома Московских Литераторов, членом которого я тогда состояла. Секретарем парткома в то время был некий Сердюк. Мне позвонил его заместитель. Он сказал, что необходимо будет основательно подготовиться, проштудировать основы марксизма-ленинизма, а также регулярно просматривать советскую прессу, так как я должна буду предстать перед комиссией райкома партии, которая будет задавать мне серьезные политические вопросы. И он сам, проявляя инициативу, сразу же задал мне вопрос, на который я не смогла ответить. Но мало того, я еще некстати пошутила, вспомнив тот эпизод из книги Гашека «Бравый солдат Швейк», когда Швейк предстает перед комиссией и, не сумев ответить на труднейшие вопросы, робко спрашивает: «Уважаемая комиссия, можно ли мне задать вам один-единственный вопрос? Вот стоит дом, в нем столько-то дверей, окон, квартир, этажей... А теперь скажите, в каком году умерла бабушка швейцара?» Моя шутка так сильно разозлила нашего самолюбивого зама, как будто сам он не был писателем. Он вызвал меня в партком и громко заявил Сердюку: «Вейо Мери приглашает ее в Хельсинки. Почему ее, а не нас?» Несмотря на все это, надежда не покидала меня, я усиленно готовилась и в назначенный день отправилась в райком партии, на комиссию. Мне задали довольно много вопросов, на которые я успешно ответила. Когда мы вышли на улицу, мой партийный куратор заявил мне: «Как ни странно, на комиссию вы произвели хорошее впечатление». Далее следовало еще пройти собеседование в МИД, которое тоже как будто бы закончилось благополучно. В заключение сотрудник даже сделал мне ком-

плимент: «С вами бы я на шашлыки поехал...» То ли это было некое приглашение, то ли приглашения ждали с моей стороны, я не знала, как это расценить. Потом нужно было еще дожидаться окончательного решения неведомых инстанций, которое должно было поступить откуда-то сверху. И через какое-то время наш зам. объявил мне, что оно отрицательное. Можно себе представить, каким это стало для меня шоком. Да еще напоследок он добавил: «Ничего, не огорчайтесь, я приглашаю вас поехать со мной на поезде в Сортавала, это закрытый город». На что я ему ответила: «С вами только на Сейшельские острова и никуда больше». На сем мы расстались.

Тогда друзья посоветовали мне обратиться к парторгу Союза писателей, поэту и переводчику Владимиру Сергееву, сыну известной поэтессы Аделины Адалис. Я знала, что она и ее сын занимались переводами азербайджанской поэзии. Сергеев сказал мне: «Не огорчайся, скоро настанут другие времена, подожди». Я, конечно, ему не поверила и была несколько озадачена его ответом. Но когда спустя некоторое время к власти пришел Горбачев, началась «перестройка», и я даже приняла участие в съезде Союза писателей, на котором он присутствовал, мне вспомнились слова Сергеева.

А еще немного погодя я получила предложение руки и сердца от моего финского поклонника. Свадьба наша состоялась в ресторане «Берлин» в Москве. Туда же, в гостиницу, приехали наши родственники. Мы посетили «Вечный огонь» у кремлевской стены, побывали на Ленинских горах, как и полагается московским свадебным кортежам. На свадьбу из Баку приехала моя мама, на ней присутствовали мои московские тетушки и двоюродные братья. Народу собралось немного. Мои бакинские тетушки не знали о том, что я выхожу замуж за иностранца. Я боялась, что для них это станет ударом, времена все же стояли советские, а они еще работали в серьезных учреждениях.

После того, как я вышла замуж, я уехала в Финляндию, но не навсегда. Оказалось очень трудно, даже невозможно, порвать со всем прошлым, с родным городом, к тому же я не могла бросить своих престарелых родственников, которым была обязана многим и которые теперь нуждались в моей помощи и заботе.

Надо отметить, что первый мой приезд в Финляндию и приход в Союз писателей оказался настоящим праздником. Все мои друзья, знакомые писатели пришли на встречу со мной в писательский ресторан «Космос». Атмосфера царилла приподнятая, радостная, оказывается, они переживали по поводу того, что меня не выпустили на курсы. Но теперь мне разрешили ходить на необходимые лекции, посвященные финской литературе, в издательства и на все мероприятия Союза Писателей. В газетах появились мои фотографии, причем подписывались они просто – Тайра Джафарова, так, словно бы финские читатели могли меня знать. Многие хотели со мной познакомиться, и все мои дни оказались заполнены. Меня приглашали в гости, на литературные вечера, на экскурсии, в рестораны, в кино. Иногда переводчица Союза писателей и моя старинная знакомая Райя Рюмин говорила мне по-русски: «Надо устроить сабантуй». Это значило, что мы собирались у нее дома или в какой-то редакции, или у меня в фойе общежития университета, и каждый приносил с собой что-то, свою еду и напитки, и мы сидели до утра, разговаривали. В центре беседы часто находился Вейо Мери, неподражаемый рассказчик, и тогда все слушали только его.

Все финны как будто задались целью познакомить меня с Финляндией, показать ее с лучшей стороны, раскрыть все тонкости ее жизни. Это отношение настолько покоряло, что казалось невозможным не продолжить далее работу над переводами

с финского. Я чувствовала себя как бы в родной стихии. Так начиналась моя серьезная переводческая деятельность.

А в нашем финском доме, разумеется, много дней продолжала отмечаться моя свадьба, мы обошли немало соседей, со всеми познакомились. От приглашений не было отбоя, все хотели меня увидеть и со мной познакомиться. Иногда я очень сильно уставала от такого непрерывного общения, но отказываться было нельзя.

Сейчас я думаю, что такое внимание и гостеприимство связано еще и с тем, что в то время в Финляндии находилось очень мало иностранцев, в основном, учащиеся из разных стран и жены финнов. Теперь ситуация резко изменилась. После того, как Финляндия в 1995 году вступила в Евросоюз, отовсюду стали прибывать беженцы, и теперь в Хельсинки, тогда малонаселенном, толпами ходят иностранцы всех мастей, порой даже трудно понять, на каком языке они разговаривают.

Мы жили в Тампере, и я работала тогда сначала на факультете славистики в университете города Тампере, а позже – на факультете финской литературы и искусств, под руководством известного профессора финской литературы Юрье Варпио.

Это время также стало одним из интереснейших этапов моей жизни. Факультет занимал первое место в университете по отсутствию интриг, в нем царил необычайно творческая и интеллигентная атмосфера. В центре всего был профессор Юрье Варпио. Меня особенно тронуло, что один из моих юбилеев, совпавший также с выходом переводной книги, отпраздновали на факультете, в дружеской обстановке. Как всегда, стол состоял из тортов, кексов и шампанского. Сам Юрье Варпио произнес трогательную речь. Обо мне опубликовали статью в центральной газете города Тампере «Аамулехти», с фотографией.

На факультете финской литературы и искусств преподавали самые элитные, известные в стране писатели и профессора. При факультете также действовал экспериментальный театр, устраивались вечера поэзии. Мне удалось завязать теплые отношения с литературными кругами, меня приняли в Союз писателей города Тампере «Pirkkalaikirjailijat», который конкурировал с Союзом писателей Хельсинки, тем более, что в него входил самый знаменитый в то время финский писатель Вяйно Линна, который был родом из этих мест. Меня также приняли в Союз Переводчиков Финляндии SKTL, который входит в европейский CIETL.

Вспоминается еще один интересный эпизод из моей литературной жизни. Когда я жила в Тампере, меня однажды попросили основать журнал Русского клуба, предназначенный для русскоязычной диаспоры города. Прежде чем начинать работу над журналом, я сочла своим долгом ознакомиться с историей Тампере. За то время, что Финляндия входила в царскую Россию, небольшой городок, известный с XV века и по-шведски называвшийся Таммерфорс, стал главным фабричным центром страны, вторым по величине и значению после Хельсинки, возможно, оттого, что он пользовался особым благорасположением русского царя. Дело в том, что в городе работала хлопчатобумажная фабрика «Финлейсон», владельцем которой стал влиятельный российский промышленник Вильгельм фон Нотбек, переехавший из Петербурга в Тампере. Супруга фон Нотбека принадлежала к знатному дворянскому роду, и Александр II поддерживал отношения с этим семейством: приезжая в Финляндию, он останавливался в их особняке. Двухэтажный особняк окружен живописным парком, выходящим на речку Таммеркоски, соединяющую два больших озера. В парке, на небольшой скале, окруженной деревьями, установлена скульптура «Бронзовый орел» в память о царских посещениях усадьбы фон Нотбека. Ниже на постаменте прикреп-

лены две медные доски, на которых выгравированы имена российских императоров Александра I и Александра II.

Семья фон Нотбеков много сделала для благоустройства и развития Тампере. У ворот их фабрики памятная доска извещает о том, что здесь в 1882 году впервые загорелся электрический свет, всего через два года после изобретения Эдиссона, и раньше, чем во всей Скандинавии.

Узнав обо всем этом, я решила назвать журнал «Русский свет» (так он называется и поныне), вкладывая в название двойное значение. Я вела этот журнал два года – 1994 и 1995, под фамилией своего финского мужа. В первом номере в статье «Сквозь призму веков» я написала об истории Тампере, рассказала о его давних связях с Россией, о семействе фон Нотбеков. Там же помещено мое стихотворение, посвященное городу, который все мы очень полюбили. Вот оно:

*Тампере! Волнующее имя!
Для него распахнута душа,
Улочками древними твоими
Ходим мы сегодня не спеша.*

*Эти улицы сквозь все невзгоды
Помнят – сколько время не стирай,
Корпуса могучего завода,
Вызвавшего к жизни этот край.*

*Чудится – ворота приоткрыты,
Слышен лязг металла и гудки,
Сам Вильгельм Фон Нотбек знаменитый
Будто бы глядит из-под руки.*

*Он трудился целеустремленно,
Чтобы здесь, среди лесов и скал,
В лампочке волшебной Эдиссона
Яркий свет впервые засверкал.*

*Эти закоулки, переулки,
Где всегда прохлада разлита,
Помнят живо царские прогулки,
Памятные некогда места.*

*В этом северном и светлом доме,
Где за все заплачено сполна,
Русская судьба с судьбой Суоми
Неразрывно связана была.*

*Пусть же в северном краю озерном
Не угаснет чистый русский свет,
Как напоминание о добром,
Дружеский негаснувший привет.*

Но через два года я перестала вести этот журнал и всецело занялась переводческой деятельностью. В это время жизнь моя была заполнена не только работой над переводами, но и посещением международных переводческих центров и кон-

грессов переводчиков. Это расширяло мой кругозор, помогало завязывать новые творческие и деловые связи. Помню, что сначала меня пригласили в переводческий центр в Швеции, предоставив грант, где я пробыла месяц. Затем, уже позже, меня премировали и пригласили во Францию и в Англию, тоже сроком на месяц. К этим поездкам я готовилась тщательно, стараясь подучить языки этих стран. Самыми интересными и содержательными мне показались международные конгрессы, состоявшиеся в Нью-Йорке и в Шанхае.

За эти годы у меня вышло немало книг с переводами произведений финских писателей, антологий финской прозы, драматургии и поэзии. Особенным успехом пользовалась антология финского юмора, на презентации которой в Москве, на международной книжной ярмарке «Нон-фикшн», был заведующий страничкой юмора «Литературной газеты» Александр Хорт, который с тех пор неизменно присутствовал на всех моих презентациях, представители других газет. Замечены были и антология финской драматургии, книги «Финская новелла» и «Современная финская лирика. Переводы и характеристики», которые до сих пор заказывают читатели в книжных магазинах.

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ В ФИНЛЯНДИИ

Когда я в 1984 г. приехала в Финляндию, меня уже знали в литературных кругах как переводчицу из Москвы. Но, тем не менее, финские писатели передавали друг другу, что я родилась в Баку, что я азербайджанка, так как я, еще живя в Москве, сопровождала писательские делегации в Баку. Союз писателей СССР предоставлял финским писателям выбрать, куда поехать из Москвы, какую республику посетить. Я всегда рекомендовала им поездку в Азербайджан. Объяснение, кроме любви к родной республике, простое: мне хотелось лишний раз съездить в Баку, повидаться с родными. В то время председателем Союза писателей Азербайджана был народный писатель Мирза Ибрагимов. Я помню, как он ласково встречал нас, называя меня «гызым» (дочка).

Поначалу по наивности я думала, что я первая азербайджанка, переехавшая в Финляндию. В то время иностранцев в Финляндии проживало очень немного, в основном, жены финнов из Карелии, Ленинграда, из других городов России, либо многочисленные студенты из других стран мира.

Мне разрешили, как переводчице, посещать лекции по финской литературе известного профессора-литературоведа Кая Лайтинена, и я часто бывала в Университете. Однажды в университетском кафе я, случайно оказавшись с ним за одним столом, познакомилась с профессором-востоковедом Сонгмо Кхо, корейцем. Возможно, его заинтересовала моя восточная внешность, и он заговорил со мной. Узнав, что я из Баку, пригласил меня заглянуть на кафедру, где работал по договору. Там он познакомил меня с секретарем Института языков и культур народов Азии и Африки, востоковедом Харри Халеном. Оба были удивлены и обрадованы тем, что встретили в Хельсинки бакинку. И тут в разговоре выяснилось, что Харри знает Баку лучше, чем я. Никогда в нем не бывавший, он знал и названия бакинских улиц, и их расположение, знал всех именитых бакинцев прошлого и настоящего, не говоря уже об истории нашей столицы и всего Азербайджана. Мои представления о том, что я первая азербайджанка в Суоми (Финляндии), он быстро развеял, тогда же поведав мне историю некоего муллы, в царское время, еще в XIX веке, попавшего в Финляндию,

которую описал в своей книге «Чужестранцы».

Харри Хален рассказал о том, что мулла Рамазан Мустафа оглу был сослан из Азербайджана на Аландские острова, в те годы бывшие самой западной частью Российской империи. Муллу подозревали в том, что он сочувствовал имаму Шамилю, а вероятнее всего, помогал его отрядам, воевавшим против войск русского царя. Мулла был азербайджанцем, говорил на азербайджанском, персидском и арабском языках. Шамиль тогда сделался притягательной силой для всего мусульманского мира Кавказа. В его войсках воевали, кроме аварцев, лезгины, чеченцы и другие мусульманские народы. Кроме того, мулла проживал в Джаро-Белоканском уезде, соседствовавшем с местами, где шли военные действия. Муллу Рамазана обвинили, как сформулировали чиновники Николая I, в «развитии вредного по отношению к Нам настроения совместно с преступными товарищами Шамиля...».

На Аландских островах ссыльного муллу сначала заключили в средневековый замок Кастельхолм, в котором тогда располагалась следственная тюрьма. Затем попытались найти для него жилье, несмотря на то, что он не владел ни русским, ни местными языками.

О пребывании кавказского муллы на Аландских островах остались местные предания и всевозможные легенды. Рассказывали о том, что «в селении Годби дочь местного судьи Йохана Нильсона, 1826 года рождения, Анна-Лииса, за 14 месяцев, которые мусульманский священник Рамазан Мустафа оглу пробыл там с весны 1848 года, выучила его родной язык». Так об этом писала 29 ноября 1880 г. газета «Хельсингфорс Дагблад». Мулла постоянно писал прошения царю о помиловании, наконец, получил свободу и уехал в родные края. Рассказывали также, что пленник был Анне-Лиисе очень благодарен, и когда настало время освобождения, обещал помнить ее и прислать ей дорогие подарки. «Прошли годы, – говорилось в газете, – но о пленнике с тех пор ничего не было слышно. Женщина пока жива и все еще в какой-то мере владеет выученным татарским языком». Позже живший на Аландских островах пастор, историк и писатель Вальдемар Нюман, основываясь на этом историческом предании, сочинил целый роман.

Я же решила написать об этой истории статью, и ее опубликовал тогда в журнале «Гянджлик» наш известный поэт Мамед Исмаил на русском и азербайджанском языках, но, увы, никто на нее не откликнулся. О дальнейшей судьбе ссыльного муллы узнать ничего не удалось. Но с этого началось наше с Харри творческое сотрудничество. Вскоре меня пригласили в очередной раз на финское радио и попросили сделать передачу о Шамиле. Я пригласила в нее Харри Халена, и он любезно согласился.

С кафедрой востоковедения у меня скоро сложились дружеские отношения. Профессор Сонгмо Кхо пригласил меня к себе домой, познакомил с супругой. Постепенно я узнала, что это талантливые исследователи.

Харри Хален – необычайно одаренный и трудолюбивый человек, владеющий несколькими алтайскими и тюркскими языками, автор многих исследований, книг, переводов, среди которых такой монументальный труд, как перевод киргизского эпоса «Манас».

Мулла оказался не единственным азербайджанцем, жившим до меня в Суоми, Харри называл и других. Но только недавно я решила познакомиться с материалами о них и обратилась за помощью в Национальный архив Финляндии. Кое-что мне удалось выяснить.

Начну с Акпер Мирзы Каджара (1854 – 1919), персидского принца. Как из-

вестно, в Российской империи многочисленные потомки Бахман Мирзы Каджара, бывшего генерал-губернатором Южного Азербайджана, а после неудачного переворота отплывшего в Баку и затем получившего почетное убежище в Тифлисе, носили титул персидских принцев. Многие из его сыновей и внуков служили в русской и персидской армиях. Известно немало офицеров и генералов русской армии из рода Каджаров, среди которых и Акпер Мирза. Внук Бахман Мирзы Каджара, он вышел в отставку в чине генерал-майора. Попал он в Финляндию, очевидно, уехав из революционного Петрограда в 1917 г. Но прожил там совсем недолго, революционные потрясения сказались на 73-летнем генерале, и в Хельсинки он умер. С русской надписью на могиле: «Здесь временно погребен генерал персидский принц Акпер Мирза Каджар. 1854 – 1919» Акпер Мирза доньне покоится на мусульманском кладбище в Лапинлахти. Видимо, такую надпись сделал на могильном камне его сын, Рукнаддин Мирза Каджар (сохранился документ, что он останавливался в Хельсинки в отеле «Приват» с 11 декабря 1918 по 1 января 1919 г.). Рукнаддин Каджар, очевидно, надеялся в будущем перенести прах отца на историческую родину, но события XX века оказались такими бурными, что сделать этого не удалось.

И вот я поехала вместе с дочкой на мусульманское кладбище, чтобы посетить могилу генерала Каджара. Сначала требовалось разыскать само кладбище, которое оказалось между православным и лютеранским кладбищами Хельсинки. Когда мы с дочкой наконец попали на его территорию, то поначалу растерялись, хотя я и знала, что, согласно архивным сведениям, могила генерала находится справа от входа под березой. Но сразу найти ее нам не удалось. И мы бы так и не обнаружили ее, если бы не заметили вдалеке высокого старика. Мы устремились к нему. Оказалось, что это работник кладбища.

– Вы говорите по-фински? – спросила я.

– Говорим, говорим! – весело отозвался он.

Старик оказался финном. Мы спросили его о могиле Каджара.

– Да вот она, под березой, вы стоите с ней рядом.

Я оглянулась и действительно увидела могилу, но, увы! Разобрать надпись оказалось невозможным.

– Должно быть написано «временно похоронен», – сказала я.

– Да-да, «временно похоронен», а остался здесь навсегда, – улыбнулся он. –

Причем, написано по-русски, шрифт не арабский. Как вы видите, тут уже ничего не разберешь.

Смутившись, он направил на могильный камень струю воды, чтобы вымыть его, и добавил:

– Теперь читайте...

Но на сыром камне уже стало совсем ничего не разобрать. Позже я прочла в архиве кладбища такое описание могилы: «На исламском кладбище находится могила знатной особы – персидского принца Акпер Мирзы Каджара. Он служил в расположенных в Финляндии частях Русской армии и умер в 1919 году. Могила вначале предполагалась временной, но принц покоится в ней до сих пор. Могила расположена под березой с установленным, как это полагалось для лиц купеческого звания, гранитным камнем с выбитой и позолоченной надписью. Сам надмогильный камень скромный. Надмогильная надпись на русском языке неразборчива и трудна для прочтения». Мы старались отчистить старый камень под нескончаемые рассказы могильщика.

– Вот там лежит знаменитый татарин-казак, – показывал он и говорил о по-

коящихся, как о живых, сообщая всевозможные подробности. Старик проработал здесь сорок лет и, по его словам, знал в лицо многих умерших татар.

– А почему вы здесь работаете? – спросили мы, и он объяснил это тем, что его жена – татарка, и продолжал рассказывать о могилах разных живших в Хельсинки татар.

Старик мне вдруг напомнил разговорчивого могильщика из шекспировского «Гамлета», непринужденно беседовавшего с принцем датским и бодро произносившего над старыми могилами мудрые речи. Такие могильщики, как старик финн, почему-то встречаются преимущественно на кладбищах западных стран, и, видимо, все они ведут род от датского могильщика, изображенного Шекспиром...

Мы так и не смогли разобрать ни одного слова на могильном камне Каджара, надпись почти стерлась. К тому же сам камень оказался невысоким и неровным, словно бы приплюснутым с левой стороны. Это была самая невзрачная могила кладбища, к тому же заросшая травой. Идя к выходу, мы обратили внимание на внушительную, богатую могилу татарского купца из Тампере Ахсена Бёре, в начале тридцатых годов финансировавшего газету «Туран». Уходили мы с кладбища с грустными мыслями.

* * *

Ясно, что в соседнюю Финляндию бежали бывшие подданные Российской империи больше всего в первые послереволюционные годы. Среди них были и азербайджанцы. В архиве Финляндии сохранился «Список № 118 лиц, бывших на опросе в карантине». Этот опрос проводили пограничные власти, выясняя личности эмигрантов из России. Вот некоторые сведения из этого списка, датированные 14 августа 1922 г.

«Расулзаде Мамед Эмин 38 л[ет]. Литератор и преподаватель с 1921 г. б[ывшего] Лазаревского института восточных языков в Москве. До этого жил в Баку, покинуть который должен был вследствие преследований со стороны большевиков. Татарин. Азербайджанский гражд. Магометанин. Уроженец Баку. Московский его адрес: Пречистенский бульв. д. № 29, кв. 14. В Финляндии никогда не был. Прибыл нелегально морем из района Ораниенбаума на Тюрсово 11/VIII–22 г. Хочет ехать в Константинополь, где имеет много знакомых. Рекомендовать в Финляндии его может Имам Хаким¹, проживающий в Гельсингфорсе».

«Омарова Хадижа 20 л[ет]. Вдова учителя и дочь Г[ельсинг]форского торговца. Татарка. Магометанка. Русская подданная. Говорит только по-татарски, и потому большего добиться от нее ничего нельзя было. Прибыла с Расулзаде. С нею прибыли дети Гельсингфорского же торговца Сулейманова Садек-оглу:

Саадет 12 л[ет].

Джафар 9 л[ет] и

Нураниа 6 л[ет].

Хочет в Гельсингфорс, так же, как и перечисленные здесь дети».

* * *

Мамед Эмин Расулзаде (1884 – 1955) – известный азербайджанский политический деятель, журналист, драматург, один из основателей Бакинского университета, Председатель Национального Совета и один из основателей первой Азербайджан-

¹ Имам Хаким Вели Ахмед (1882 – 1970), имам мусульманской общины Финляндии.

ской Республики. В карантин он попал в Келломяках. Расул-заде провел в Гельсингфорсе (Хельсинки) чуть больше месяца. Отсюда 16 сентября 1922 г. уехал морем в Германию, а затем встретился со своими соратниками в Париже и уже оттуда через какое-то время перебрался в Стамбул. В своих ответах карантинной службе он, по понятным причинам, уклончив. И хотя Расулзаде действительно арестовывался в 1920 г. бакинским ЧК, но затем, по просьбе Сталина, его освободили и отправили в Москву, где он работал в Наркомате национальностей, а не только преподавал в Лазаревском институте. Умолчал он и о том, что его побег из СССР подготовлен и осуществлен подпольной организацией Мусавата.

Возможно, что именно представители Мусавата обратились за рекомендацией для Расулзаде к уважаемому в Финляндии имаму Вели Ахмед Хакиму, который по приглашению финских татар приехал из Казани и вступил в эту должность еще в до-революционном 1914 г. Он был одним из основателей мусульманской общины в Финляндии, ее первым имамом. Вели Ахмед Хаким по своим взглядам был очень близок к пантюркистам и конечно оказал поддержку азербайджанскому единоверцу. Сохранилась фотография, на которой изображен Расулзаде в Финляндии, в городе Хювинкя, в окружении трех человек – Абдуллаха Баттал-Таймаса, исследователя истории тюркских народов, Лутфи Исхаки, петербургского имама и купца из Хювинкя Мустафы Саллаха, очевидно, оказавшего им гостеприимство.

Жизнь М.Э. Расулзаде в эмиграции оказалась бурной, деятельной, наполненной многими событиями. Умер он в Анкаре. Но сохранившаяся в архиве справка добавляет точные подробности к истории эмиграции выдающегося азербайджанского политического деятеля, к ее финскому эпизоду. Говорит она и о том, кто были его азербайджанские попутчики. Кроме точных дат и маршрута, впервые стал известен его московский адрес. Бульвар, где жил до эмиграции Расулзаде, носил название Пречистенского до 1924 г., но теперь он называется Гоголевским. А дом № 29 до революции был доходным домом Патриаршего Иерусалимского подворья и представляет собой жемчужину московского модерна начала прошлого века¹. Теперь он сохранил лишь свой эффектный фасад, внутри же перестроен. Так что квартиру № 14, в которой жил наш выдающийся земляк, мы в нем уже не найдем. Нужно добавить, что в этом доме в 1918 г. находился Наркомат по делам национальностей, возглавляемый Сталиным, в котором работал Мамед Эмин Расулзаде. Позднее не менее восьми жильцов дома были репрессированы, и, если бы Расулзаде не эмигрировал, то, вероятно, разделил бы их страшную участь.

* * *

В те годы самой большой и единственной мусульманской общиной в Финляндии были татары. Они оседали здесь большей частью в связи с торговыми делами или же после службы в российской армии, части которой стояли в тогдашнем «Великом княжестве Финляндском», как называлась Финляндия, будучи частью Российской империи. Так одним из основателей татарской общины в Тампере стал богатый купец Зинетулла Имадетдин Ахсен Бёре (Зиннетуллах Ахсен Ефенди; 1886 – 1945), до 1920 г. живший в Териоках, а затем перебравшийся в Тампере, где он открыл большой магазин мехов, тканей и «турецких товаров».

¹Этот дом был первоначально построен в 1892 г. архитектором А.С. Каминским; затем в 1905 г. перестроен мастером московского модерна архитектором Г.П. Евлановым, изменившим его фасад, ставший его лучшим созданием, и надстроившим еще один этаж; при последней перестройке дома он вырос еще на один, 7-й этаж.

С 1925 г. граница Финляндии с СССР перестала быть открытой, а до этого через нее можно было сравнительно легко перебраться. Естественно, что татары помогали в этом своим единоверцам. Кроме того, нелегальный переход границы в Келломяках был налажен и осуществлялся преимущественно при содействии татар, использовавших давние торговые связи. Обычно беженцев перевозили на лодках, так как дорога из Питера до Келломяк (нынешнее Комарово), где стояла погранзаства, была не дальняя. Так происходило и с Расул-заде: как стало известно из письма, найденного в Парижском архиве¹, которое Мамед Эмин отправил Топчибаши из Хельсинки в Париж, пустился он в путь именно на лодке, темным дождливым вечером, без вещей. И дорога, судя по его описаниям, оказалось нелегкой, очень рискованной, стоившей немалых переживаний и тревог. Этим же путем, с теми же опасностями и тревожностями преодолевали советско-финскую границу и другие эмигранты тех лет. Затем из Келломяк Расулзаде, приглашенный тамошним состоятельным купцом Джамалетдином (Самалетдином) Юсуповым, отправился в соседний Териоки (ныне Зеленогорск). Радушно принятый Джамалетдином-баба, как называет его в письме Мамед Эмин, он переночевал в Териоках и на другой день отправился на встречу с имамом Хакимом в Хельсинки. Так начался зарубежный период жизни и деятельности Мамед Эмина Расулзаде.

Из архивных документов я узнала, что в Тампере жил азербайджанец Мехмет-Садык², одно время бывший главным редактором тюркской газеты, которая вначале называлась «Туран» (это название легендарной прародины тюрков), а затем «Йени Туран» («Новый Туран»). Издателем ее и хозяином был татарский купец Ахсен Бёре. Он получил хорошее для своего времени образование: сначала окончил медресе в Уфе, а в 1916 г. сдал экзамен на должность Имама. Позже организовал перевод на финский язык Корана, и перевод этот до сих пор считается фундаментальным. По своим взглядам он был пантюркистом, превозносил все турецкое. Бывая в Турции, Ахсен Бёре познакомился с оказавшимся там в эмиграции Ахундзаде и пригласил заинтересовавшего его журналиста в Тампере редактировать финансируемую им газету. Другим спонсором газеты стал Хайрулла Самалетдин-Алибек, также видный предприниматель, потомки которого до сих пор живут в Финляндии.

Мамед Садыг Ахундзаде (1895 – 1971) родился в Зангезуре, происходил из бекской семьи. Известно, что его дед занимал влиятельный пост шейх-уль-ислама Кавказа в Тифлисе, отец был почитаемым священнослужителем. Перед революцией Ахундзаде преподавал в открытой им в Горисе школе, а после революции был избран от Зангезурского уезда в парламент Азербайджанской Демократической Республики. Годы после захвата власти в Баку большевиками для Мамед Садыга были бурными. Вначале он руководил подпольной организацией Мусавата в Карабахе, откуда перебрался в Турцию. Затем вернулся в Азербайджан, но вскоре, оказавшись в Тифлисе, был арестован и два года провел в заключении. После освобождения в 1924 г. он сумел уехать в Иран, оттуда в Турцию. В самом конце двадцатых годов он приехал в Финляндию. Купец Ахсен Бёре пригласил его редактировать газету «Йени Туран», но сотрудничество продлилось недолго, прекратившись «вследствие произошедшей между ними ссоры» в начале 1932 г. Нрав Ахсена (это прозвище купца не случайно в переводе с татарского означает «волк») оказался крутым, а возможно, проявилось и расхождение во взглядах. Сохранилось официальное заявление изда-

¹Топчибаши А.М. Парижский архив. Книга вторая / Составители Георгий Мамулия и Рамиз Абуталыбов. Москва, 2016.

² Мамед-Садыг Ахундзаде – азерб.: Мəhəmmədsadıq Axundzadə; турецк.: Mehmet Sadik Aran.

теля, отказавшегося финансировать газету: «Я больше ничего общего не имею с газетой «Йени Туран». Издатель Ахсен. Тампере 15.2.32».

После этого Мамед Садыг покинул Тампере, вернувшись в Турцию. Дальнейшая его судьба сложилась сравнительно благополучно. В 1936 – 1941-х гг. он был корреспондентом турецких газет «Улус» и «Джумхурийат» в Иране. Позже долго и плодотворно работал в Институте исследований тюркской культуры в Анкаре.

Сохранились два номера «Йени Туран», у меня имеются копии этих газет, которые мне любезно предоставили в финском архиве. В одной из них напечатана статья К.Ахтинена, ближайшего помощника Ахсена Бёре, «О произношении турецкого языка». Мне хочется привести выдержки из статьи «В Азербайджане», напечатанной во втором номере газеты за 1932 г., на первой ее странице, на финском языке, и проиллюстрированной фотографией старого Баку со стороны бульвара, на которой просматривается Девичья Башня. Автор ее выступает как пылкий борец с большевистской властью за независимый Азербайджан: «... Россия проводит политику русификации местного населения, цель которой очевидна: уничтожить коренное турецкое население и русифицировать Азербайджан, этот важный для большевиков источник прибыли». Далее автор утверждает, что «молодежь Азербайджана продолжает вести партизанскую подпольную войну против русских, несмотря на то, что в одни только Соловки было сослано свыше 13 тысяч образованной интеллигентной молодежи и большое количество людей пожилого возраста. И все-таки молодежь Азербайджана не сомневается в том, что однажды вместе с молодежью других стран, находящихся в том же положении (Грузия, Дагестан, Украина, Туркестан), добьется, наконец, независимости и самостоятельности своей родины. С этой целью там повсюду ведется упорная ожесточенная борьба против России. И финский народ наверняка понимает тягостное положение азербайджанского народа и с сочувствием следит за его борьбой».

Как видно даже из процитированной статьи, Ахундзаде был ярким патриотом своей страны, редактируя газету, он старался помещать в ней статьи, связанные с родным Азербайджаном, рассказать о происходящих там событиях, затронуть большую тему отторжения страны с приходом к власти большевиков. Это могло послужить одной из причин недовольства спонсора Ахсена Бёре, который, как известно, был влюблен во все турецкое. И, возможно, это также привело к тому, что их сотрудничество прекратилось.

* * *

Собирание сведений об азербайджанцах, чей путь приводил их в страну Суоми, важное и нужное дело. Мне кажется, что тема «азербайджанцы в Финляндии» еще не исчерпана, и кто-нибудь когда-нибудь займется ее изучением, тем более что теперь их здесь гораздо больше, чем в давние времена.

«Я ЖЕМЧУГ, В РАКОВИНЕ СКРЫТЫЙ»

Мое заветное желание что-то сделать для моей родины, Азербайджана, именно в Финляндии сбылось только недавно. Удалось подготовить и выпустить Антологию азербайджанской поэзии на финском языке. Идею о том, чтобы представить на финском языке азербайджанскую поэзию дал мне наш известный поэт Фикрет Годжа. Вначале она мне показалась неосуществимой. Но по дороге из Санкт-Петер-

бурга в Хельсинки, в поезде, я встретила известного финского поэта и писателя Ханну Мякеля и как бы невзначай в разговоре спросила его: «Как ты думаешь, Ханну, возможно ли перевести и издать в Финляндии антологию поэзии Азербайджана?» «А почему бы и нет», – ответил он.

Спустя некоторое время, уже в Хельсинки, я решила глубже изучить азербайджанскую поэзию: много читала, и не только стихи, но и литературоведческие статьи, эссе. Меня, прежде занимавшуюся исключительно финской литературой, восхитили старинные дастаны, газели и рубаи.

Я очень долго и тщательно выбирала состав будущей антологии, и когда он определился, стала подыскивать издателя. Вскоре он нашелся, им стал Лееви Лехто, популярный поэт, переводчик, издатель, умнейший человек, интеллигент. Известный в Хельсинки как переводчик «Улисса» Джеймса Джойса и рубаи Омара Хайяма, обладатель престижной премии Эйно Лейно, присуждаемой поэтам. Он, как это ни странно, сразу согласился на издание антологии азербайджанской поэзии, и мы заключили договор.

Так как работа предстояла большая и требовались владеющие традиционным стихом, умеющие рифмовать поэты (а большинство современных финских поэтов пишут лишь свободным стихом), я пригласила для участия в сборнике того же маститого Ханну Мякеля, обладателя самой престижной в стране премии «Финляндия». Себе я отобрала для перевода поэзию Натаван, Расула Рза и Нигяр Рафибейли. Еще я пригласила поэтов Юкку Маллинен и Тимо Малми. Стихи Тимо Малми, известного поэта из Тампере, когда-то публиковал «Литературный Азербайджан», главного редактора которого Мансура Векилова с Малми связывала дружба. А Юкка Маллинен – не только крупный поэт, но и замечательный переводчик и общественный деятель: одно время он возглавлял Институт Финляндии в Санкт-Петербурге, затем был Председателем финского Пен-клуба. Лееви Лехто брался переводить самую сложную часть – старинную классическую поэзию, а Ханну Мякеля – более позднюю, начиная с Гусейна Джавида и Мушвига. Тимо Малми перевел, главным образом, стихотворения Мамеда Исмаила. А Юкка Маллинен взялся перевести стихи Вахида Азиза и самого молодого из поэтов антологии, Салима Бабуллаоглу.

Мне, к тому же, нужно было представить полный состав антологии, все стихи и справки об авторах на финском языке в дословном, научно выверенном переводе. Перед началом нашей работы Лееви обронил фразу: «Посмотрим еще, какие подстрочники ты нам представишь». Потом, когда они были уже сделаны, он отозвался о подстрочниках вполне одобрительно.

Мы работали над переводами с Ханну Мякеля, пользуясь *e-mail*. Я отправляла ему очередную порцию стихов и свои пояснения, а уже рано утром он присылал мне поэтические переводы. Невероятно трудолюбивый, Ханну Мякеля каждый день поднимается в пять часов утра, начинает работу и трудится допоздна. Поэтому уже в 9–10, включая свой компьютер, я читала его приветствие: «Доброе утро!», и просматривала готовые переводы. Я все время боялась, что однажды это прекратится, так как вся работа делалась совершенно бесплатно, но, к счастью, он так увлекся азербайджанской поэзией, что довел ее до конца. Надо заметить, что это удивительный человек, гуманист и просветитель, преданный литературе и страстно любящий поэзию. Он даже читал свежие переводы из азербайджанской поэзии на своих поэтических выступлениях. А их у него проходит немало, так как читатели очень любят Ханну Мякеля, он чрезвычайно популярен в Финляндии. Это несмотря

на то, что ему уже перевалило за 70, хотя нужно учесть, что поэт очень спортивен и ежедневно не менее двух часов занимается большим теннисом. Но о Ханну Мякеля я уже писала в антологии поэзии Финляндии, представляя его стихи.

Также мы работали и с Тимо Малми.

Собрав все сделанное воедино, я отправилась на встречу с Лееви Лехто в издательство. Началась работа с Лееви. Он поразил меня тем, что, как говорится, «с листа», прямо на глазах переводил некоторые стихи и тут же читал мне, спрашивая, как это звучит.

В совершенстве владеющий английским, Лееви въедливо копался в литературе, отыскивал переводы тех же газелей на английский, где обычно рядом с переводом приводятся оригиналы. Мы вслух зачитывали их, он записывал их звучание и только затем принимался за перевод. Особенно он старался при работе над переводом знаменитой газели Насими «В меня вместятся оба мира». Проверялся перевод Константина Симонова, который не рифмовал ее, сравнивался с английским и с оригиналом, где тоже не было рифмы, которую заменял выразительный рефрен «не вмещусь». Стало ясно, отчего Симонов не зарифмовал газель, естественно, не из-за неумения, а чтобы передать ее своеобразие.

По мере продвижения работы над антологией никто из поэтов, к счастью, не вспоминал о гонораре. Только Тимо Малми иногда советовал мне обратиться к послу Азербайджана в Швеции, чего я не сделала. Но я волновалась и переживала оттого, что труд поэтов-переводчиков и издателя остается неоплаченным. Когда все переводы были готовы, Лееви должен был сделать верстку и оригинал-макет книги, обложку и подготовить ее для отправки в типографию. Он все это сделал, зная, что никто не оплатит его работы. Но мы все, те, кто участвовал в работе над антологией, отказались от своих процентов со сбора от продажи будущей книги в его пользу, чтобы он мог получить хоть какое-то вознаграждение. Спасало еще то, что его издательство действует по принципу «Print of demand», заказывая в типографии то количество экземпляров, которое востребовано, допечатывая тираж по мере необходимости.

Наконец антология, названная строкой Насими «Я жемчуг, в раковине скрытый», увидела свет. Мне это казалось чудом. Все вместе взятое – то, что я, переводчица финской литературы, взялась за этот труд и справилась с ним, и то, что все, к кому я обратилась, самоотверженно согласились работать на одном энтузиазме. Видимо, это была помощь свыше, какое-то чудо. Причем вышедшая антология заинтересовала финского читателя, ведь это был первый в истории сборник азербайджанской поэзии на финском языке.

Уже после моего отъезда в Баку с вышедшей книгой из Хельсинки пришла новость, что два дня подряд на финском радио ЮЛЕ читались стихи из нашей антологии.

Кстати, Лееви, как добросовестный издатель, заявил, что необходимо азербайджанским поэтам, вошедшим в антологию, переслать авторские экземпляры. Тут уже я решила сама оплатить самоотверженному издателю стоимость этих книг и перевезти их в Баку. Кроме того, по пути в Баку я остановилась в Москве, где завезла книгу в Посольство Азербайджана в России. В Посольстве меня с дочкой вежливо приняли, напоили чаем с пахлавой. Затем мы еще завезли книгу в редакцию журнала «Баки» и передали моему однофамильцу Джафарову.

Приехав в Баку, я объявила Фикрет-муаллиму, что его пожелание сбылось,

азербайджанская антология переведена на финский язык и издана. Надо сказать, что Анар устроил в Баку презентацию книги, на которую были приглашены ее авторы, где каждому поэту вручили по авторскому экземпляру. Затем поместили информацию об антологии на сайте Союза писателей, в газете «Адабият», а мне преподнесли цветы и наградили дипломом...

А недавно, с 21 по 27 августа 2015 года в Хельсинки прошла неделя искусств и ежегодный международный фестиваль поэзии «РУНОКУУ» («Поэтическая луна»). Организатором фестиваля стал журнал «Нуоривойма» («Силы молодых»). И действительно, когда в августовском небе всходила луна, с 7 до 11 вечера, финские, и не только финские поэты выходили к микрофону, читали стихи, говорили со своими читателями, с теми, кто неравнодушен к поэтическому слову. И на вечере, состоявшемся 27 августа под названием «Стихи всего мира» в Национальном театре Финляндии, в его всем известном здании-замке, построенном в романтическом «югендстиле» в начале прошлого века, главным событием стала презентация «Антологии азербайджанской поэзии». В презентации, кроме меня, участвовали издатель антологии Лееви Лехто, поэты Тимо Малми и Юкка Маллинен. Поэт Ханну Мякеля прислал свое поздравление из Сочи, где он в эти дни находился, зачитанное на вечере. Презентация прошла с большим успехом.

В начале вечера выступил Юкка Маллинен, известный не только переводами русской поэзии, но и составленными им разнообразными антологиями. Как знаток восточной поэзии (чтобы подчеркнуть это, Юкка Маллинен на сцену вышел в феске), он рассказал об ее особенностях, особом аромате, который в полной мере присущ азербайджанской поэзии, говорил о ее лиризме и своеобразии. Затем читал свои переводы.

Тимо Малми прочел переводы стихов Расула Рза, Мамеда Исмаила, других современных поэтов. Ведущий спросил его: «Что побудило поэта и писателя из Тампере, писавшего о финских военнопленных во Второй мировой войне, заняться переводами азербайджанской поэзии?» На что Тимо Малми ответил:

«Когда я познакомился с Таирой Джафаровой и подружился с ней, она работала в нашем университете. Однажды Таира подошла ко мне и сделала деловое предложение: установить связь с журналом «Литературный Азербайджан». А я в то время был главным редактором газеты науки и культуры «Айкалайнен», и мы стали заниматься этой темой. Взяли интервью по Интернету у Мансура Векилова, главного редактора журнала, перевели его стихи и напечатали все это в нашей газете. Потом Таира перевела мои стихи, посвященные Северу, а также литературоведческую статью профессора Варпио, которые были опубликованы в «Литературном Азербайджане». Так мы завязали литературные связи и сотрудничество, которые впоследствии продолжались.

Азербайджан, как наша книга – «жемчужина в раковине», так как в нем кроме чудес моря, множество фруктов. И в Азербайджане поэтов сравнивают с яблоневыми деревьями. Мансур Векилов писал, что на Азербайджан надо смотреть сверху, с курса Бога... С неба. Тогда видно, что он похож на птицу с острым клювом. Город Баку – как бы клюв птицы, а голова ее – полуостров по имени Абшерон. Поэтому я хочу еще прочитать свой перевод стихов Мансура об Азербайджане...

Так что Азербайджан и его поэзия не явились для меня чем-то новым и неожиданным, когда Таира Джафарова пригласила меня поучаствовать в переводе антологии. Потом, когда я стал председателем Союза писателей города Тампере,

Таира Джафарова подготовила издание «Антологии финской поэзии» в своем переводе и попросила разрешение включить в нее мои стихи. Поэтому у нас давнее творческое содружество. Да, она всегда старалась наладить литературные связи между двумя странами, многое для этого делала».

После выступления Тимо Малми слово дали мне, и я рассказала, как возник замысел антологии, с какими сложностями я столкнулась не только при определении ее состава, но и при подготовке перевода, для которого требовалось обращаться не только к азербайджанским оригиналам, но и к существующим переводам на русский и английский языки, разбираться в тонкостях стихосложения, поэтики.

Потом я прочитала стихотворение Расула Рза «Скажи глазам твоим» в своем переводе.

На вопрос ведущего вечера «Каково быть гражданином Азербайджана, который был неоднократно завоеван», я рассказала, что действительно в настоящее время это непросто, поскольку одна четвертая часть страны завоевана. К тому же надо иметь в виду, – говорила я, – что Карабах – это жемчужина Азербайджана, откуда родом многие талантливые поэты и певцы, национальные классики Натаван и Вагиф, народный певец Бюль-Бюль и другие... Мы все помним песню знаменитого певца Рашида Бейбутова «Парень веселый из Карабаха», который исполнял ее, гастролируя в Финляндии, и пел:

*Лихо надета набок папах.
Эхо разносит топот коня.
«Мальчик веселый из Карабаха» –
Так называют всюду меня.*

Я рассказала, что детство и сына Бюль-Бюля, азербайджанского народного певца Полада Бюль-Бюль оглу, тоже связано с Карабахом, с городом Шуша, который называли «консерваторией Кавказа».

После этого поэт Тимо Малми с подъемом прочел свой перевод вошедшего в антологию стихотворения Сулеймана Рустама «Карабахская песня», которое написано в то время, когда Карабах был свободным...

Лееви Лехто в своем выступлении сделал лаконичный и выразительный литературоведческий анализ книги, подробно рассказал о ее составе. В конце вечера была прочитана знаменитая газель Насими «В меня вместятся оба мира», вначале мной в оригинале, на старотюркском, а затем Лееви Лехто в своем переводе на финский. Читая, он буквально следовал звучанию прочитанного оригинала газели, делая это с артистизмом и подъемом, увлекая слушателей музыкой стиха и глубиной мысли азербайджанского классика.

В конце вечера я выразила издателю антологии и всем финским переводчикам благодарность за прекрасную и бескорыстную работу от своего имени и имени Союза писателей Азербайджана и всего азербайджанского народа.

Но главной наградой для меня стала мысль о том, что эта антология азербайджанской поэзии, зазвучавшая по-фински, – моя дань родному Баку и всем моим предкам.

Их памяти я посвящаю и эту книгу.

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

* * *

Я из плена твоих улыбок и слов
Улетаю на Север дальний –
В белотканой стране из туманов и снов
Позабыть твой голос печальный.

Вознесут меня крылья волшебных грез –
Верноподданных слуг влюбленных,
В край придуманный, где ни вздохов, ни слез,
Ни речей твоих нет смятенных.

Он – за синею далью, за тысячью верст,
За пределом всего земного,
В нем ни времени нет, ни пространства нет.
И ничто – вот его основа.

Улетая над морем в далекий край,
Буду думать, что мне осталось
Верить только себе, ни о чем не зная...
Но и это – счастливая малость.

Осень в Мардакянах

Дорога, петляя инжировым следом,
Вела от истоков притихших садов
Туда, где сливаются море и небо
В наплыве туманов, дождей, облаков.

Был берег омыт серебристой волною
И тайну недавнего шторма хранил,
Созвездием рыб в накипевшем прибое,
Ракушек свечением нежным дарил.

Казалось, парящие души тюленей,
Белеющих млечно в прибрежном песке,
Сливались с мелодией о спасенье,
О вечной по морю и далям тоске.

Томительный день угасал понемногу,
Был розовым лик восходящей луны,
И древности тень, воссияв у порога,
Хранила те светлые, детские сны.

**Сентябрь вётрами бесился,
с деревьев золото ронял,
он звал, и плакал, и томился,
и все богатства расточал.**

**Был в этом распорядок строгий
и свой особый высший смысл,
что наши гордые дороги
разъединила чья-то мысль.**

**И подчиняясь, словно в сказке,
тем строгим правилам игры,
с тех пор совсем иные маски
обличья наши обрели.**

**Сентябрь удержать не может
серебряной своей слезы,
а светлый август славит дождик
осколков золотой звезды.**

**Много летних сезонов
мне судьба подарила,
много летних сезонов
я жила, не грустила.
Я не плачу об этом,
мне дорога ясна –
пусть к последнему лету
приближает она.**

**Много летних сезонов
жизнь дарила мне щедро,
словно трепет бутонов,
дуновение ветра.
Пусть, поникнув устало,
облетела сирень,
и на землю упала
сиротливая тень.**

**Много летних сезонов
пронеслись, как минута –
если б сбросить те годы
мне на плечи кому-то!..
Не сочти же укором
блеск случайной слезы –
она высохнет скоро,
словно капля росы.**

В свете фонаря

**Каждый вечер под моим окном
вместо луны зажигают фонарь,
каждый вечер в сердце моем
ветер свистит и тоскует февраль.**

**Тени колышутся в глубине
причудливых веток в раме окна,
и никто-никто не придет ко мне,
все вечера просижу одна.**

**Будет спокойно и просто мне,
покажется охрою киноварь...
Каждый вечер под моим окном
вместо луны зажигают фонарь.**

**Не кажется странным, что нет тебя,
что вместо лета воет февраль...
Каждый вечер внизу под окном
Мне зажигают этот фонарь.**

**И обиды совсем не страшны,
только правильно сердце направь...
Каждый вечер под моим окном
вместо луны зажигают фонарь.**

*** * ***

**Видно так на роду написано –
одиноко бродить среди людей,
то ль под стройными кипарисами,
то ли в раздолье российских степей.**

**Ощущать себя – то персиянкою
под томительный вопль зурны,
то вдруг истою северянкою
мерить версты большой страны...**

**Боль и радость изведать общую,
затаить в себе самую суть,
ту исконную, первозданную
двум народам присущую грусть.**

**И нигде не найти пристанища
на распутье меж двух городов,
где однажды последним знаменьем
мой последний послышится вздох.**

В больнице

Больница, сумерки белые,
затишье у белых дверей.
И мысли, как оголтелые,
обнаженностью ранят своей.

Безысходное чувство боли
и такая потеря сил,
что легким усилием воли
рождается трепетность крыл.

У болезни в косматых лапах
мне кажется, дышит едва
арбуза пленительный запах –
запах моря, Юга, тепла!..

Соседки спасаются верой,
надеждой на мага-врача,
в сердцах их царит доверье
(хоть нет-нет и они ворчат...)

У иных вдруг светлеют лица,
над тарелкой блестят глаза,
оставляют они больницу,
как испитый до дна бальзам.

И воскреснув для жизни прежней,
очищения круг пройдя,
станут жить добрей и прилежней,
успокоенность обретя.

ЛЮДМИЛА БЕЖЕНАРУ

КАМАЛ АБДУЛЛА: ФИЛОСОФИЯ ПОЛНОТЫ*

1. «Авторская маска» и «параллельные миры»

Французский филолог постструктуралистской ориентации Ю.Кристева утверждала, что «любой текст строится как мозаика цитат, любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь другого текста». Полемизируя с французским филологом по поводу термина «интертекстуальность», Ф. Барт определял текст как интертекст, и в энциклопедической статье о тексте он писал: «Каждый текст является интертекстом, другие тексты присутствуют на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры». В этом смысле памятники культуры и их исследование в русле «малого исторического времени» (современность писателя) и «большого исторического времени» (опыт предшествующих эпох) помогают определить срединное звено писательской деятельности, смысл которого можно обозначить терминами «преемственность», «наследие», «традиции», «культурная память».

Значение традиций (культурной памяти) и причастность к ним стимулируют творчество национальных авторов порождает новое и оставляет веку в научном познании исторического и художественного процесса, а разноплановость культуры прошлого (словесно-художественные средства, фрагменты текстов-реминисценций, мировоззрения, концепции, идеи, формы внехудожественной культуры) помогает авторам опираться на «те или иные формы жизни, ставшие культурной традицией». Именно свободному следованию традициям обязано человечество своим существованием, считает русский философ XX века В.Ф. Эрн. «Свободная традиция <...> есть не что иное, как внутренне метафизическое единство человечества».

В этом внутреннем метафизическом единстве человечества азербайджанская литература, опирающаяся на подлинные народные традиции и культурно-художественные ценности, сохранила свою самостоятельность и этническую особенность. Возможность нового прочтения глубоких смыслов традиций и констант азербайджанской и всемирной литературы, составляющих «золотой» фонд преемственности (Хализев), а также «абсолютно первых книг» (Гегель), Библий народов, в которых показан их «изначальный дух», позволили Камалу Абдулле исследовать существование азербайджанского народа – не физическое, а «существование историческое, нравственное, эстетическое, <...> народа, у которого есть прошлое, есть предки, есть заветы этих предков», есть первая из книг – «Китаби-Деде Горгуд». Камал Абдула рассматривает Дастан как систему, в которой все элементы тесно взаимосвязаны. И это отражает в себе историю огузских тюрок и вместе с тем «хранит в изображаемых в нем персонажах и событиях самые главные, самые значимые моменты этого перехода – перехода от общего к частному, от совокупного к единичному, от общества к человеку. От Мифа к Письму!».

Книга первопредков-огузов стала не только настольной книгой ученого-исследователя, но повлияла и на творчество Камала Абдуллы как писателя. Его «Неполная рукопись», основанная на древних тюркских этических сказаниях и на легендах о Деде Горгуде, подкупает читателя-реципиента богатейшим культурным материалом «большого исторического времени», т.к. произведение уходит своими корнями в далекое прошлое азербайджанского народа, и это

¹ Исследование творчества Камала Абдуллы осуществилось в рамках европейского проекта Yunus, текст является частью монографии «Камал Абдулла: Философия Полноты», которая готовится к изданию в сербском издательстве Pro Europa Novi Sad.

прошлое не дает ему раствориться и потерять свою идентичность в огромном мире народов, населяющих нашу планету. А последний роман «Долина кудесников» – это «своеобразный итог размышлений автора, – считает Джейла Ибрагимова, – отрефлектировавшихся чувств и эмоций, откристаллизовавшегося опыта. Это роман-притча о народе, который родился тысячу лет назад, жил, верил и созидал; рассказ о поиске глубинного смысла познания природы и человеческой жизни». Эти произведения можно объединить в один тематический ряд, так как в своих последних романах Камал Абдулла описывает не только общечеловеческое, представленное на азербайджанском пространстве (известное томление человеческого духа, людские страсти и тайны бытия, интриги и исторические катаклизмы), но и само «азербайджанское», азербайджанский мир со своим характером, красками и влияниями.

Сегодня, когда культура все еще переживает кризис исчерпанных идей, пытаясь погрузиться все глубже в повседневность, Камал Абдулла, на основе философского осмысления и анализа первого письменного памятника азербайджанского народа, пересматривает старый мир, переосмысливает его идеи и создает свою собственную философскую тайну-сверхсмысл «Китаби-Деде Горгуд» в «нетрадиционной», по определению Рахмана Бадалова, исследовательской книге «Тайный Деде Горгуд». Эта философия художественно обратилась в им же созданной постмодернистской эстетике канонического текста «Китаби-Деде Горгуд» в романах «Неполная рукопись» и «Долина кудесников». В науку «о гармонии человека с Универсумом; в некое специфическое духовное поле, в котором человек обретает одну из высших форм бытия, ощущение и переживание полной и всецелой причастности к бытию», Камал Абдулла вводит свое понимание проблем бытия, внутреннего мира и ценностей человека. Философия Камала Абдуллы в «Долине кудесников» представлена не в прямых сентенциях, а растворена в художественной ткани произведения. По сути, это «метафора автора, познающего себя, и в этом – основа взаимоотношений творца с Богом» (Джейла Ибрагимова). Это рассказ о поиске глубинного смысла познания человеческой жизни и человеческой природы, которая может почувствовать Полноту только посредством очищения и всепрощения, и в этом автор видит достижение полной гармонии человека с Универсумом. Его поучения: «Не сотвори себе кумира», «Не живи мстью», «Не живи одним миром», поэтому необходимо во главу своих убеждений поставить вопросы собственных грехов и исповедовать принципы всепрощения и любви ко всем людям, как этому учит Коран. Милосердие, доброта, всепрощение созвучны и христианской теологии и обрядности; эти основные характеристики человеческой личности и человеческих взаимоотношений способствовали взаимопроникновению культур.

В своей исследовательской работе «Тайный Деде Горгуд» Камал Абдулла определяет национальный эпос «Китаби-Деде Горгуд» как «своеобразный мост», способный переносить человеческое общество из одного древнего периода в другой, из мира природного в мир культуры.

В своих последующих, уже ставших беллетристичкой художественных текстах автор трилогии «Неполная рукопись», «Долина кудесников», «И некого забыть», оказавшись на мосту, уже переходит «на другой берег». Он переходит от Мифа к Письму и, изменяя канонический текст «Китаби-Деде Горгуд», создает свою постмодернистскую эстетику Полноты. Изменив сюжетные линии, развив образы вглубь и внутрь, внося изменения на уровне языка и стиля, Камал Абдулла посредством объективации демонстрирует не только традиционные повествовательные связи внутри канонического текста, но и привычные принципы его организации.

Центром такого фрагментированного повествования (трилогия и научный текст) является образ автора в романах, который организует и контролирует реакцию импанцитного читателя. Надев авторскую маску¹ – один из способов создания эффекта повествования и хаоса – автор расширяет художественное пространство произведений за счет «мета-текста» – т.е. коннотаций, при помощи которых формируются культурные конвенции традиционного времени.

В историческом романе «Неполная рукопись» автор вводит в повествование метатекст-

¹ Литературная энциклопедия терминов и понятий под ред. А.Н.Николюкина рассматривает авторскую маску как способ сокрытия писателем собственного лица с целью создания у читателя иного (отличного от реального) образа автора.

туальный комментарий, тем самым навязывая читателю-реципиенту свою интерпретацию – и об этом ставит его в известность в начале романа. «Неполная рукопись» обрывается или же оставляет «что-то недосказанным, и по мере необходимости» автор имеет возможность «тут же давать свои, разумеется, сугубо личные субъективные толкования. Мы сочли, что гораздо продуктивнее расположить свои комментарии по ходу текста и приняли решение поместить их... набранными особым шрифтом». Кроме того, на протяжении всего повествования читатель увидит текстовые фрагменты, заключенные в обычные скобки. Содержащиеся в них заметки и примечания принадлежат самому автору «Неполной рукописи».

Основной уровень содержания «Неполной рукописи» – это параллельное движение двух дополняющих друг друга текстов, направлений, двух миров:

1. запись следственного процесса, происходящего в огузском обществе (запись ведется секретарем – Деде Горгудом.)

2. особые примечания, заметки на память и схематические зарисовки самого автора, т.е. Деде Горгуда.

Автор уверяет читателя, что ничего не мешает воспринимать его заметки как «своеобразные стенографические записи по ходу следствия». Таким образом «авторская маска» становится реальным героем повествования, который привлекает к себе внимание читателя. Повествователь также вводит «имя героя эпических заметок и предполагаемого автора – барда-прорицателя-святого человека, который является ключевой фигурой в эпосе и, более того, в неполной рукописи (и в «Неполной рукописи»), имя которому Отец, или Дед Горгуд». И этот реальный герой – Деде Горгуд, он же автор, это записи «самого автора Деде Горгуда», читаем мы в начале романа.

Макс Статкевич¹ считает, что когда нарратор Камала Абдуллы «акцентирует свое стремление к обладанию секретами, он демонстрирует определенное «разрушение письма», «энергию афоризма», о которой говорит Деррида. В этом смысле автор может быть рассмотрен как потомок Деда Горгуда, или, скорее, Деде Горгуд в романе может быть рассмотрен проецированием самого писателя. В романе Камала Абдуллы Деде Горгуд является не только секретарем Баяндур-хана, он также хранитель секретов – секретарь в строгом смысле этого слова; каждый в огузском обществе «знает, что секрет, доверенный Деде, будет бережно храниться».

В трилогии автор появляется в том или ином виде, посредством объективации своего замысла структур произведений вступает с читателем в непосредственное речевое общение и сам объясняет свой замысел. Чтобы не обречь произведение на «коммуникативный провал», вызванный фрагментарностью дискурса и нарочитой хаотичностью постмодернистского романа, автор берет на себя дополнительные обязанности. Авторская маска становится, таким образом, смысловым центром трилогии Камала Абдуллы и важным структурообразующим принципом повествовательной манеры писателя.

В «Долине Кудесников» автор – это странник, который «еще дальше уходит к горизонтам познания времени и человеческой судьбы, почти зависая на пороге бытия и небытия и даже вторгаясь в пределы мертвых». Трагический финал, связанный со смертью главных героев («Караванбаши точным ударом вонзил острый конец кинжала в грудь», Хаджи Ибрагима ага «гневные солдаты сбили с ног и растоптали в прах», Мамедкули бросает красавицу Пернису в пропасть, «внезапно он ощутил, что его поднятые вверх руки сжимают пустоту... кого же ему поставить обратно на землю?! Красавица Перниса исчезла...»), приводит читателя к главной мысли романа-притчи: только прощение и очищение помогает индивидууму и народу жить и выжить, ибо «нельзя постоянно жить с чувством мести в душе. Мечь – это яд...», который съедает разум, сердце, покой, и в конце концов душу. «Вынь из сердца страшный огонь мести, потуши его так, чтобы от него не осталось и пепла», – советует дух отца Караванбаши, потому как уверен, что только отказавшись от мести Караванбаши обретет покой. В этом плане роман Камала Абдуллы переплетается с диалогией кабардинского классика Алима Кешокова «Вершины не спят». Герой романа Инал Маремканов помнит увещевания матери, просьбы старшей женщины не мстить сыновьям Кургоко, потому что «кровная мечь – заразная болезнь от-

¹ Специалист по теории литературы и литературной критике, классическим текстам, философии, компаративной мифологии, риторике Университета Висконсин-Мэдисон.

сталых народов. Ее надо лечить, а не распространять между людьми. Помни, Инал, эти слова лучших людей твоего народа». Камал Абдулла уверен – и в этом старается убедить читателя посредством авторской маски – что дикий обычай кровной мести изжил себя, вне зависимости от временного и географического пространства. Приходит новое время, и возникают новые человеческие взаимоотношения, люди по-другому начинают смотреть на мир и порядок в нем, потому и происходит переоценка ценностей, переосмысление своих культурных традиций. Своих «кровавых» героев автор «наказывает» по двум канонам. Европейский и восточный каноны искупления греха по-разному определяют наказание за грехи. Христианство перенесло наказание за грехи в глубину человеческой души, и литературные персонажи терзают себя за совершенное злодеяние, страдают больше душевно и психически, нежели физически. Восточный канон искупления греха с самых древних времен предвидел смерть как наказание за вину. Вот почему Караванбаши («стоял посреди комнаты, его руки все так же были протянуты к небу») считает недостаточной просьбу о прощении у Бога как искупление грехов. Он не собирается удирать, как советует ему дух отца, и считает единственно правильным покончить жизнь самоубийством: «Караванбаши точным ударом вонзил острый конец кинжала в грудь» и со словами «Прощай, Ага» ушел в мир иной, не услышав ответа духа о прощении грехов. Первым носителем чувства греха в азербайджанской литературе Камал Абдулла считает Тепегеза, определив его «первым персонажем» в ряду грешников. По нашему мнению, Караванбаши из Долины Кудесников является пока последним «грешником» в азербайджанской литературе, потому сопоставление образов этих двух грешников, их характеров, показывает, что они, несмотря на неоднозначность, трагичны. Тепегез, Мамедкули и Караванбаши – три палача разного калибра, один коварнее другого. Разница между ними лишь в том, что Тепегез и Мамедкули – «купаются» в крови людской – «истреблю всех младенцев, хоть раз наемся человечины досыта», а Караванбаши – палач собственной души, который травит себя чувством мести. Каждый из них по-своему понимает и искупает свои грехи, но все они присутствуют в двух ипостасях – убийцы и грешника. Переводчик Людмила Лаврова пишет о совершенстве романа «по внутреннему строю», метафорически определив его как ... «Сад расходящихся троп». В этом саду авторская маска, которая «совсем не то, что кажется, это иллюзия, но чья», – ведет нас за караванщиком в поисках убийцы его отца, рассказывает историю палача Мамедкули, советует не вмешиваться в промысел Божий, ибо «Бог воздаст каждому по делам».

2. Материнство, традиции Семьи и Рода, или Эпоха матриархата

Эпоха матриархата – это «эпоха абсолютного господства Матери, женщины». Это самая древняя эпоха Мифа, и важность ее велика потому, что мать регулировала деятельность своего ребенка – она распоряжалась его судьбой. Благодаря матери, дети, особенно сыновья, могли стать и героями, и правителями. Воспитание в духе любви к Родине, к родной земле, ответственность перед собственным народом за его судьбу и благополучие прививались с «материнским молоком». Отцы заменялись богами или силами природы.

Мировая история и литература описывает многих героинь-матерей, которые сыграли определенную или решающую роль в жизни стран, эпох, правителей. История азербайджанского и румынского народов знает двух матерей – Сару Хатун и Олтя Доамна – которые, будучи образованными, властными и сильными – правили совместно со своими сыновьями – Узун Гасаном и Штефаном Чел Маре (Стефаном Великим.)

В азербайджанском эпосе и в азербайджанской литературе женщина рассматривается, прежде всего, как мать, как продолжательница рода и хранительница домашнего очага. Право матери у огузов – сакральное, святое право. Народное воображение создает образ азербайджанской – восточной женщины, которая сочетает в себе основные черты национального характера, имеет абсолютную завершенность и тяготеет к обобщенности. Этот образ собирательный и включает в себя черты внешности, особенности характера и поведения, человеческие качества, при помощи которых можно достойно выполнять обязанности матери и

хранительницы очага. Терпение, жертвенность, кроткость, доброта, трудолюбие характеризуют вообще кавказскую женщину в любой ипостаси – будь это мать, жена, невеста, сестра или бабушка.

Первая книга огузов определяет женщину-мать как царицу, императрицу, и почитает ее как старшую в семье. «Приди сюда, моя государыня-матушка, чьим белым молоком я взращен». Материнство и мать воспевают прекрасный гимн: «Досыта дающей сосать свое белое молоко матери слава».

Первое сказание повествует о том, как у Дерсе-хана после долгих молитв и богоугодных деяний рождается сын, необычайно сильный и одаренный. Горгуд дает ему имя Бугач (бык.) Джигиты завидуют Бугачу и рассказывают отцу разные небылицы о его любимом сыне. Дерсе-хан, разгневавшись, смертельно ранит Бугача. Далее говорится о силе материнской любви: материнское молоко, смешанное с соком горного цветка, спасает юношу.

И повесть Анара переплетается с древним эпосом: «Баяндур-хан повелел: у кого сын – разместить в белой палатке, у кого дочь – в золотистой. А у кого нет ни сына, ни дочери, того, сказал он, поместите в черной палатке, постелите ему черный войлок, поставьте перед ним мясо черного барана. Станет есть – пусть ест, не станет – пусть идет, куда хочет. У кого нет ни сына, ни дочери, того Бог невзлюбил, и мы любить не станем». Бейбура уверен, что стыд бездетности постиг его семью «либо по моей вине, либо по вине моей жены».

Дастан – это синтез концепции мать-род-племя, и главный его герой, Деде Горгуд, способен все решать, всем помочь, потому что так принято в роду. «Всякое дело, какое бы то ни было, не решалось без разрешения Деде Горгуда. Что он предсказывал – все сбывалось, подтверждая его слово». «Деде Горгуд всегда разрешал трудности населения Огуза». «Деде Горгуд всегда разрешал трудности своих родственников».

В романе «Долина Кудесников» женщина изображается в трех ипостасях – девушки, жены и матери. Из Дастана образ любимой «с маленьким ртом, в который не вмещаются два миндаля,» переходит в «Долину Кудесников»: «Красавица Перниса ...была невысокого роста, смуглой и худой, но красотой ее Бог не обделил». <...>. Палач Мамедкули влюбляется в юную Пернису; это чувство, это наваждение пришло к нему как наказание небес – «душами прильнули друг к другу».

В своем исследовании «Тайный Деде Горгуд» Камал Абдулла вводит в европейскую культуру одну очень важную и интересную мысль, при помощи которой матриархат обнаруживает себя в Дастане: «От кого народится сын – знает мать!» (Oğul kimdən olanğını ana bilir.) В сегодняшнем контексте эта мысль восточного дастана определяет в символической форме поведение личности, особенно женщины, в своем «интимном» пространстве. Определенная свобода личности (иногда тотальная), развязность отношений ведут к тому, что высказанная выше мысль не находит своего места, особенно в европейском обществе.

Безусловно, это – тема возвращения общества к более-менее нормальной интимной жизни. Эпоха, в которой мы живем, ценна и привлекательна тем, что нам были возвращены определенные личностные и общественно-гражданственные ценности: свобода слова, свобода передвижения. Возвращение в наше (непристойное) время к мудрости «От кого народится сын – знает мать» – это своего рода вызов западным сторонникам сексуальной революции, которые, начиная с 60-70 годов XX столетия, противопоставляют «насильственным» притязаниям морали естественные права природы.

После спектакля «О! Калькутта» (Лондон, лето 1971) оказалось, что «не осталось уже ничего запретного», и все в этом мире должно быть рассмотрено как тело. Самообнажение стало «революцией» не только в области общественной нравственности 60-70 гг. прошлого столетия, но и в области сексуальных свобод. Нагота воспринималась как «раскрепощение культуры», превратившись в факт сексуальной вседозволенности. Переход от «негации» к «интеграции» генитального поколения 70-х годов («Мы все принадлежим Генитальной генерации», – заявил Эрл Уилсон в своей книге «Зрелищное предпринимательство без прикрас») состоялся через отмену прежних моральных запретов на сексуальные свободы, которые вошли в эстетические рамки времени. Бытие природных начал в человеке перенеслось на страницы литературы, все более отдалялась от самого основания европейского «кодекса чувств» – пла-

тоновской теории любви. При такой трансформации все стилевые элементы доводятся до гипертрофированных форм, провоцирующих переход «культурного» в «природное» и наоборот. В соответствии с этой логикой «дискурсивная» власть переводится во власть насильственную, телесную, сексуальную, причем образы, воплощающие эту власть, должны вызывать непосредственную эмоциональную реакцию читателя, а именно – отвращение.

Вот почему возвращение к восточной мудрости «От кого народится сын – знает мать!» – это не только вызов западной морали и литературе, которая поддерживает изобилие описаний извращенных отношений между индивидуумами (однополые браки, дети в однополых семьях), садо-мазохизм, фетишизм, но и иллюзорность нормальности. Персонажи, герои стянуты «в резину», следует естественный вывод: «Когда вы заключены в резину, мало что остается от личности, все существование сводится к большому упругому шаровидному покрову».

Этой «моде на резину» и свободе изображения инстинктов – разорванным отношениям, распавшимся связям, которые нашли место в мироощущении и бытийности современного западного индивидуума – Камал Абдулла противопоставляет традиции восточной ментальности: женщина-мать должна знать отца своего ребенка, значит, она не должна допускать развязности в отношениях с мужчиной. Потому женщина-мать и почитается в роду как Царица, как Властелиница. Она является продолжательницей рода не только физически, но и нравственно. На ее плечах лежит ответственность за здоровье, физическое и нравственное, нации вообще. Сохранение чистокровного родства и непорочных семейных уз, тепла очага и доверительности в отношениях – это высшая миссия Женщины-матери.

В Дастане место матери ясно определено – это Женщина-мать, «политико-общественный титул, данный матери», который указывает на то, что в период создания дастана мать считалась в обществе и в бекской семье «советчицей, созидательницей», символом чести, чистоты, нравственности. «Если не будет женщины, не будет обладательницы чести», – говорится в Дастане. Это один из немногих культурных памятников, который воздает женщине принадлежавшие ей по праву зачинательницы рода человеческого права и обязанности. Она оберегает Судьбу Рода, честь семьи и мужа, и именно от огузской женщины-матери история рода предстает как целая эпоха в жизни азербайджанского народа. Женщина-мать – это собирательный образ Семьи и Рода в восточной культуре, и приравнивается она к божественному созданию: «Если б не был долг перед матерью долгом перед Богом, достал бы я свой меч».

В ценностной картине мира образ матери связан с образом детства, а характеристики этого единства и отношение к детству отражены в различных проявлениях азербайджанской культуры. Многие ценностные установки, связанные с характеристиками детства, нашли отражение в «Китаби-Деде Горгуд» и перешли в азербайджанскую ментальность: «Не имеющего детей проклял Всевышний, мы тоже проклинали его»; «Сын без примера отца угощения не стоит». Камал Абдулла следует не только ценностным установкам Дастана по отношению к Женщине-матери, но и мусульманской ритуальной традиции наречения именем. Ее истоки лежат в наставлении Пророка, где говорится, что на седьмой день ребенку бреют голову и нарекают именем. Многие имена начинаются с «Абд», что означает «раб». Эта составляющая имени показывает, что ребенок принадлежит к рабам Аллаха. Страноведческий и культурологический смысл имени известен Камалу Абдулле, который считает, что: «Миф с помощью Деде Горгуда использует один из важнейших элементов своего культурного арсенала, чтобы раз и навсегда вырвать сына из объятий природы и окончательно прикрепить его к культурной среде; его проводят через ритуал имени». Имя в его романе символично и многоаспектно. Имя дано человеку при рождении, от Аллаха. Эта характеристика имени совпадает с его поступками в тексте трилогии, так как, согласно Дастану, «имя, а не душу тут берегут в чистоте».

В романе Камала Абдуллы не только ради чести и покоя собственной души должен Караванбаши отказаться от мести! Нет! Еще и потому, что жизнь прекрасна! «Знаешь, – у Духа как бы нехотя прорвалось горькое признание, – ты хоть понимаешь, какая прекрасная штука жизнь?» И радоваться этой жизни будет безгрешный Ребенок, сын Караванбаши, которого автор переводит из грешного и темного мира в пространство Долины кудесников, в розовое пространство «новой» малой родины, очищенной от греха, мести и крови. В Долине кудесников, которая «начиналась за Змеиной сопкой от зеленого подножья Невидимой Горы, спуска-

лась ущельем прямо в низину, и носила название Долины Кудесников. Ущелье прозвали так потому, что все вокруг знали, видели, поверили, что с разных концов Земли от Магриба до Машрига, сошлись сюда кудесники, волшебники и маги, избрав это место своим пристанищем. Почему они выбрали именно его – никто не знал, а сами они не говорили ни слова. Вдоль долины, куда ни глянь, можно было увидеть их – то поодиночке, то по-двое или собравшись в группу. Кудесники прохаживались туда-сюда. Размахивая руками, что-то рассказывали друг другу или же просто стояли молча. Ведущая через ущелье в родные края дорога была для них основным источником пропитания, они жили подаяниями и дарами проходящих и на жизнь им хватало, иногда кто-то из путников, уверовав во всемогущие магии для достижения какой-нибудь своей цели, приглашал с собой одного из кудесников, чтобы воспользоваться его чародейством». Таким образом, в романе Камала Абдуллы мифический образ «малой родины» воспринимается в традиционном – горской прозы – и современном осмыслении, в контексте художественно-философских концептов Восток-Запад, евразийских мотивов в их современной интерпретации в азербайджанский контекст национальной картины мира, корни которой связаны с Дастаном. «Культуры нет, – считает художник-эрзя Ю. Дырин, – корни существуют. Корни из деревни ... они в душе ... они связаны с воспоминаниями о детстве ... это начинает говорить через тебя». Автор превращает реальность в розовую мечту – «а в Долине кудесников стояла весенняя пора, пора цветения и птичьего щебета <...> Кудесники группами, беседуя между собой, привычно прогуливались, одни – вдоль долины, а другие, сделав круг, сидели вокруг розового куста на зеленом лугу». «Метафорический», символический образ розы помогает автору создать свой чистый духовный мир Добра, Правды и Любви. Идеализируя реальность, «в романе ... фантастичны не события, а люди, <...> сросся он с призраком «нового бытия», Камал Абдулла создает свой центр мироздания, свое космическое колесо. Именно поэтому «роман не исчезает как призрак. Хотя и полон призрачно-прекрасной, неведомой слепцам жизни», достойной лучших представителей рода человеческого – непорочных детей-ангелов.

Образ Ребенка в романе Камала Абдуллы – это Будущее, с которым у огузов – азербайджанцев – существует генетическая связь: эта связь прослеживается на страницах многослойного Дастана и плавно переходит на страницы «Долины Кудесников», показывая становление и формирование духовного мира азербайджанского народа по отношению к Материнству, к традициям Семьи и Рода.

3. Баллада «Миорица» и эпос «Китаби-Деде Горгуд»

Период единой и стабильной модели мира принято называть космологическим и мифопоэтическим. Это мифологическое время есть время происхождения всего сущего, первоначальных образов вещей, становления общественных институтов. В азербайджанской традиции оно обозначается выражениями – раньше, изначально, в русской – вначале, в румынской – la început. В мифах разных народов находят при всем различии много родственного в созерцании идей, послуживших первоисточником для искусства. Если у азербайджанцев «абсолютная» книга – это эпос Китаби-Деде Горгуд», то у румын систему образов, представлений, знаний об устройстве мира и месте человека в нем, эпос и героические предания затмевает баллада Miorița/Миорица – о кроткой овечке Миорице и ее не менее смиренном хозяине, молодом пастухе Молдовану. Сюжет этого сакрального и фундаментального мифа румынского народа прост, но многозначен и глубок. Мифологические сюжеты и мотивы, представления, связанные с пастушескими текстами, отражаются не только в древнеогузском эпосе, но и в румынской балладе. Отгонное горное прикарпатское овцеводство в древнейшие времена было основным способом существования влахов к северу и югу от Дуная. Овечка Миорица приходит к чабану-молдаванину и предсказывает ему гибель от двух других чабанов, чья этническая принадлежность тоже представлена в балладе: первый – Врынчан (житель Вранчи, т.е. из Мунтении), а второй – Унгуриян (т.е. житель Трансильвании, входящей в те древние времена в состав Венгрии). Художественные вершины образа «миоритической свадьбы» – это универ-

сальное единство человека и природы, преодоление трагизма человеческой жизни через это слияние. Миф демонстрирует народное представление о всепобеждающей гармонии и красоте мира, целостное и, в конце концов, жизнеутверждающее мировосприятие. Многозначно появление в последних сценах Матери:

*Не видал ли ты,
Не встречал ли ты
Любимого сына,
Статного пастушка?
Личико у сына
Белей молока;
В усиках волос –
Что пшеничный колос;
Кудри у него –
Что вороново крыло;
Ясные очи
Чернее ночи.*

Сцена появления Матери после смерти пастушка показывает, что никакие силы не в состоянии разрушить первооснову жизни, нравственность, прервать связь времен и поколений, образовав временной «тоннель» в культурно-цивилизационном пространстве. Образ Матери усиливает открытость финала баллады, заставляет читателя ощутить в конце не точку, не «приговор», а вопрос, тоску, тревогу, боль и надежду. Надежду на то, что жизнь продолжается! В румынской балладе Мать, пусть и не Царица, не Властелиница, как в Дастане, но все же она выступает как хранительница очага, рода, семьи. Благодаря этому, баллада, как и Дастан, читается в начале XXI века и как лирико-философское размышление о путях развития человечества, о роде и семье, о вине и ответственности за происходящее, которое – с помощью образов-символов – нарисовано не просто реалистически, но и философски-метафорично. В откровениях «Миорицы» читатель видит пророчество, и оно содержит в себе ясную мысль – на коварных «братьев» полагаться нельзя. Но и бежать от них или убить их – великий грех. Образ простого пастуха, без дома, без крова, который странствует по степям и по лугам со своими овцами и собаками, предстает перед нами как человек, который возлюбил вечность и пытается восстановить разрушенное единство, разрушенный союз, принося себя в жертву. Бог воззрел на жертву пастуха-скитальца. Небесная свадьба пастушка – это история о выживании душевной чистоты в условиях, когда весь мир (и особенно близкие) тебя предает. Пастух Молдовану, принося себя в жертву, как бы следует некоему новому религиозному сознанию, ведь жертва – это начало религии, связи неба с землей. И на этой почве возникают сначала зависть, ложь, и, наконец, смерть, братоубийство. Разрушенное единство, разрушенный союз – сами по себе зло, нарушающие единый закон, единый нравственный миропорядок. Судьба человечества, цивилизации мира связана с пророчеством о предательстве «братьев»; но моральные качества героя – его скорбь и мечта о счастье и свободе никаких сомнений не вызывают, его бесконечная терпимость и всепрощение – хрестоматийны. Миф не убивает героя, миф оставляет вопрос о его судьбе открытым. Потому что великий миф – это не просто нарратив, такой миф – всегда загадка и программа.

Пророчества Миорицы трагичны, но не фатальны: румынский народ остался единственным и истинным носителем «миоритической вселенной» – фундаментального мифа «Миорицы», полного глубоких смыслов, откровений и предсказаний. Потому что в конце этого божественного народного нарратива высвечивается удивительная мечта – женитьба на «всей земли царице» и, значит, обретение свободы и власти над своей судьбой.

Основывая свои выводы на вышесказанном, можно утверждать, что образ пастуха в «пастушеском тексте», безусловно, является знаковым. Как отмечает Т. Цивьян, персонаж «пастушеских текстов» в фольклоре нередко «уже некоторая условность, знак, символ, репрезентирующий образ и смысл — мифический, фольклорный, литературный, отпечатавшийся в

сумме представлений человека». И в Дастане «пастушеский текст» показан во всей своей полноте: семантический ряд включает около 70 лексем, образующих ассоциативные контуры во круг денотатно-сигнификативного центра – ядра «пастушеского текста»: пастух, черный пастух, ягненок, пастбище, собака, охота, бараны, белые бараны, черные бараны, стадо, родился баран, кремненные пастухи, чобан, ягнята с бляением, белая овца, Басат повалил барана, дай из своего стада десять овец, пастух идет, взвалив дерево на спину, и др. и включает, как и в румынском тексте, четыре компонента: пастбище (как локкусный сигнификатор территории), пастух (главный герой, проживающий в этом месте), ягненок/баран/овца, знак, их соединяющий, и собака, знак, оберегающий пастуший мир. Пастбище – это некий центр активности, который имеет цельную систему дефиниций. Важно отметить, что указанные компоненты содержат потенциальные смыслы, в которые входят: модальная рамка, установка, эмоциональная составляющая. Так, например, образ жизни пастуха может быть рассмотрен как позитивно (модальная рамка одобрения, поощрения, превосходства, восхищения, желательности т.д.), так и негативно (модальная рамка ущерба, неодобрения, страха и т.п.): жизненный ритм пастбища означает и скоротечность, отвлечённость, отделённость от других локкусов, но и замедление жизни на лоне природы.

В рамках «пастушеского текста» Дастана Камал Абдулла исследует образ Караджа Чобана, «первого представителя социальных низов во всей последующей огузской литературе», пастуха, «привязанного к старому дереву», находящегося между «двумя мирами – Небом и Землей». В том же состоянии находится и пастух Молдовану – и «небесная свадьба» тому подтверждение. Но если Караджа Чобан вырывает дерево с корнями – «Караджа Чобан напрягся, с землей и корнями вырвал огромное дерево», таким образом как бы освобождая себя, то пастух из румынской баллады не предпринимает ничего для того, чтобы спастись от предательства братьев. В то время, как Караджа Чобан активно борется за свое освобождение, пастух Молдовану пассивно принимает на себя удары судьбы, он безучастен в установлении справедливости. К балладе «Миорица» восходит понятие миоритизм, которое автор Лучиан Блага связывает с особенностями исторического менталитета румынского народа. Миоритизм отражает некие важные, непреходящие черты национального менталитета, такие, как смирение перед личной и исторической судьбой, спокойное отношение к смерти, ощущение единства человека и природы и конечной гармонии мироздания и т.д. Эти черты народного восприятия мира, бесспорно, отражены в любом фольклоре, в других национальных мифах. Спокойное принятие вечных законов жизни и смерти, пассивность героя баллады перед угрозой смерти, отраженная в балладе – это национальные черты характера румын, уверен Блага, следствие как многовекового христианского воспитания, так и житейской мудрости, как нелегкой исторической судьбы, так и «светлого» темперамента нации, доминантой которого является спокойное и культурное в совершенстве латинство. Метафизические глубины румынского духа философ связывает и со славяно-тракийским фондом. «Некоторое варварство» не помешало бы симметрии и гармонии латинства, считает Л.Блага, поэтому поколение 30-х, к которому принадлежал и Эмиль Чоран, определило для себя теорию «варварских корней» как духовную догму. Более радикально благианская теория нашла свое отражение в «Преображении Румынии» Эмиля Чорана.

И баллада «Миорица», и дастан «Китаби-Деде Горгуд» – это национально-этническое представление о мифологизированной структуре мира в традиционном мировосприятии румынского и азербайджанского народов. Постоянно находясь в процессе напряженного и обостренного поиска культурной идентичности, этносы вновь и вновь возвращаются к основополагающим мифам человечества. И трилогия Камала Абдуллы – этому подтверждение.

4. Переплетение и созерцание Будущего и Прошлого в мифологических событиях Настоящего

«Долина Кудесников» – роман-фантазия, как определяет его сам автор, вводит нас в волшебный мир предков азербайджанского народа, в очаровательную сокровищницу непред-

сказуемости восточных сказок. Как во всех произведениях Камала Абдуллы, «сюжет «Долины кудесников» захватывающ по описываемым в нем событиям, неожиданным поворотам и зигзагам, деталям и нюансам умозаключений, глубок по остросоциальному содержанию, чрезвычайно проникновенен и во многом символичен, что сказывается и в напряженном ритме повествования, и почти фактурной тональности образов – точных, метких в сравнениях, риторичных, вплоть до афористичности, философичных в размышлениях и безграничности авторской фантазии».

Этот мир обретает свои характерные краски – от белого, серо-черного, черного, до багряно-красного и красного, – и имеет свою глубину – глубину восточной философии. Мир, созданный автором, покоряет нас многоплановым пространством, многомерностью внутреннего времени и историчностью. Колорит восточной сказки переплетается в «Долине Кудесников» с философией притчи об истории человечества, в которой нашли свое место мертвые и живые; с ощущением живого пространства, в котором есть место и земным страстям. и несовременству человеческого естества в равной мере.

Камал Абдулла повествует о Прошлом с радостным настроением и с большой ответственностью; так же, как и в Дастане, в романе «Долина Кудесников» Прошлое дополнено широкой оппозицией. Только в «Китаби-Деде Горгуд» оппозицией Прошлого является Настоящее, а в романе-притче – Будущее. Без Прошлого нет Будущего, и в своем романе автор остается верным этой мудрости. Он переживает за историческое прошлое своих предков, гордится своей историей, но вместе с тем подходит к истории со своей собственной концепцией: «Все конечное и бесконечное состоит из одного мгновения. И это мгновение содержит в себе и прошлое, и будущее».

Определяет автор через посредство Ак дервиша и Шейха Манучехра и название этой концепции – Полнота: «Шейх улыбнулся: Оно уже имеет название. И имя ему – полнота. Полное мгновение – это настоящее, вобравшее в себя и прошлое. и будущее. Мертвых и живых, рожденных и нерожденных...». В Долине Кудесников переплетение и созерцание Будущего и Прошлого, которое происходит в мифологических событиях Настоящего, можно назвать эстетикой Полноты. И эта эстетика Полноты, которую строит автор на страницах Долины Кудесников, выражает мироощущение и мировоззрение не только восточной, но и европейской ментальности.

Творчество Камала Абдуллы несет в себе глубокий инициатический смысл, философично в размышлениях и безгранично в авторской фантазии. Философия Камала Абдуллы религиозна, но духовный порыв его философии обращен не к небу; его философия не утверждает бессмертие. Она видит смысл бытия и жизненных устремлений человечества в создании земного рая, т.е. такого земного обустройства жизни, в условиях которого человек наиболее полно раскроет свои духовные и нравственные качества и утвердит в своей жизни в качестве основополагающих принципы человечности, добра, справедливости, правды. По мнению азербайджанского мыслителя, именно таким образом будет достигнуто на земле состояние всеобщего счастья и любви, устройство совершенной земной жизни. Это плоды мечтаний и попытка автора спустить небо на землю, построить земную жизнь по небесным принципам, и в этой своей попытке он не ставит на место Бога человека, на место Духа Божия человеческий разум, на место страха Божьего человеческую любовь. Во главе всего Камал Абдулла ставит Слово. А последним из чудес, считают автор-повествователь и его герой Хаджи Ибрагим Ага, это явление Корана: «...последним чудом стало явление Корана, который наш Пророк принял от Аллаха и подарил всему человечеству. После этого нет больше места для чудес на земле <...> А ведь именно Ак дервиш убеждал нас: именно потому что в начале было Слово, то и в конце было Слово. Все, круг замкнулся...», но одно из имен мгновения остается. Имя этому мгновению – Слово, в начале и в конце времен. И Оно, Слово, как последняя песчинка, заполняет Полноту.

Чистый белый снег, выпавший в заключительной части романа, покрывает собой предательство, смерть, потерю духовности, прыжок в бездну, и кровь! всю кровь, которая была пролита в истории народов земли. Ибо очищение и есть дорога к всепрощению. Кавказский снег – особый, колючий, жесткий, заставляющий содрогнуться – падает с неба крупинками мудрости Слова, как гимн человеческому очищению и всепрощению.

Романы Камала Абдуллы «Долина кудесников» и «Неполная рукопись» содержат в себе постмодернистскую эстетику канонического текста «Китаби-Деде Горгуд» и заполняют «ту литературно-художественную духовную пустоту, которая создалась на постсоветском пространстве в XXI веке».

5. Культ Мифа в творчестве Камала Абдуллы

Трилогия Камала Абдуллы и научное исследование ««Тайный Деде Горгуд» проникнуты «своеобразным мифическим тоталитаризмом», модой на миф, особенно активными на рубеже XVIII-XIX вв.

В творчестве Камала Абдуллы эпос о Деде Горгуде циркулирует по замкнутому кругу, основываясь преимущественно на новейших учениях о мифе, на «ритуальной» и «архитектурной» ветвях мифокритической методологии. Камал Абдулла рассматривает миф как решающий фактор для понимания всей Письменности человечества, как генератор литературы – художественной, научной. Даже если литература отделяется (на определенных этапах) от мифа, в конечном итоге она снова возвращается к Мифу. И творчество писателя-модерниста Камала Абдуллы – тому подтверждение. Он создает «новую мифологию» эпоса Китаби-Деде Горгуд, возникую не только из «глубин духа» (как выразился бы Ф.Шеллинг), но и из «нового прочтения» Мифа и стремления синтезировать науку, литературу, религию и другие проявления современной жизни в единое целое, создавая Полноту.

Культ Мифа и мифологического сознания сохранился в коллективном сознании азербайджанцев и всегда способствовал выявлению глубинно национальных истоков художественного творчества. В каждом национально-этническом пространстве «первобытный человек все еще живет в нас, а гражданин XX столетия воспроизводит в своих снах символы древних мифов».

В творчестве Камала Абдуллы ощущается ностальгическое отношение к временам, богатым культурными традициями и культурой, самобытностью, с которыми человечество давно распрощалось. В поисках формулы исторического пути человечества в общем и азербайджанского этноса в частности, автор обращается к огромным временным дистанциям; временная перспектива становится в трилогии Камала Абдуллы не только структурной осью произведений, но и морально-этическим и эстетическим императивом. Основывая свое творчество на Мифе, как на «интегральном элементе литературы», Камал Абдулла опирается на Дастан, как на модель идеального бытия, и вводит его в описание современной жизни, как сравнительную величину. Миф, как «генезис современности, уходящий в глубь веков, или постоянство бытия, отражающее деятельность индивидуального сознания и подсознания, и привносит в повествование второй план и глубинную перспективу», – считает В.Кубилус.

Сохранив поэтическую наивность мифа, Камал Абдулла создает параллельный мир, в котором действие развивается как в скрытые в подсознании доисторические времена, так и в настоящем и в будущем, расширяя, таким образом, «значение грамматических времен» (Т.Манн) и делая возможным «для народа сегодняшним и былое, и будущее» (Т.Манн.)

Находясь внутри процесса современной литературы и опираясь на миф, Камал Абдулла совершает поворот от универсализации художественной культуры к ценностям «местного» значения, к традициям и обычаям предков. Это стремление к локальности – шаг в народную мифологию, которая воплощает в себе и опыт бытия, и мудрость отношений, и этические и правовые нормы, и обилие героев и сюжетов для философского осмысления современной жизни.

Вместе с тем, соглашаясь с утверждением американского исследователя Дж.Уайтона о том, что сегодня «миф выдвигается как норма,... которой надо следовать», – можно определить, что в творчестве Камала Абдуллы миф – только один из источников литературного материала. Поэтический синтаксис автора является, наряду с национальным эпосом, краеугольным камнем его стиля. Национальная стилистика не требует дополнительных пояснений: она вводит читателя в колоритность восточной сказки; фразы наполнены эмоциональными приливами ориентализма:

«Спаси и сохрани, Создатель, незнающих, от гнева и злобы знающих все. Аминь».

« – Знаешь ли, зачем я позвал тебя, сын мой, Горгуд?

– Не знаю, достойный хан, – отвечивал я» («Неполная рукопись»).

Обращения и повторы имен и фразеологических оборотов вводят нас в атмосферу жизни древнетюркских огузов и составляют как бы каркас композиции, держащий читателя внутри мусульманского мира («Слышал я, Хан мой», «Задумался Хан мой» – «Неполная рукопись») («Пришел, чтобы припасть к ногам твоим» – «Долина кудесников») («Клянусь, чист я и перед Богом, и перед Шахом, и перед людьми».)

1. – Накормил ли гостя, напоил Хаджа Ибрагима?

– Премного благодарен, угостили меня на славу.

2. – Нет, да буду жертвой твоей, не может ... («Долина кудесников»)

– «Разве можно Баяндур-хану, Верховному хану, хану над всеми ханами – Ханлар-хану, сказать неправду?» («Неполная рукопись»)

Речевые обороты (бычок-губошлеп, Иншалла), фразеологизмы, обращения объединяют и характеризуют восточный менталитет, восточное самосознание, традиции и обычаи. Это и отличает творчество Камала Абдуллы от простой «трансплантации» мифа в литературу.

Символы древних мифов, «многие персонажи, созданные в соответствии с мифологическими знаками сказаний в некотором роде скульптурно-статуарно, в тексте «Неполной рукописи» внезапно освобождаются от стылой неподвижности и оживают, начинают любить, ненавидеть, проявлять верность, строить козни, обманывать, смеяться, плакать». Таким образом, беи и их сыновья, ханы и наследники становятся простыми смертными, и автор с их помощью воссоздает человеческую жизнь древнеогузского общества. Автор охватывает «жизнь в ее движении и развитии, изображает ее как превращение прошлого в будущее» – т.к. по-другому нельзя воплотить настоящее. Камал Абдулла запечатлел (под маской автора) в записях следственного протокола тончайшее отражение хода истории в поведении и сознании коллективной ментальности предков азербайджанцев. Автор ищет в эпосе изображение реального облика далеких времен, чьи идеальные черты и сам ход событий воспроизведены верно эпосом, потому определенные страницы «Неполной рукописи» подлинно историчны и отчетливо выражают конкретный смысл эпохи азербайджанской истории.

По размаху историзма повествование Камала Абдуллы об истории азербайджанского народа «конгениально» Льву Толстому и Шекспиру. Сопоставляя творчество Камала Абдуллы с другими авторами, мы вовсе не желаем выявить, кто из них «выше». Талант меряют неповторимостью и своеобразием, поэтому в мировой культуре у Камала Абдуллы есть своя, никем невозполнимая ниша. Именно благодаря магическому сказочному колориту, пластам суфийской символики, доведенной до предела реальности фантазии и иллюзорного мира под давлением своеобразного «мифического терроризма» Дастана Деде Горгуд автор стоит в одном ряду со многими его современниками и предшественниками. Некоторые из них, возможно, многограннее его. Масштаб таланта Камала Абдуллы определяется не только силой его влияния на азербайджанский народ и на своих современников, но и на другие культурные пространства и поколения. Интерес к творчеству Камала Абдуллы других культур большой, и перевод его произведений на русский, французский, английский, польский, турецкий, грузинский, португальский, японский языки делает творчество Камала Абдуллы собственностью всего культурного мира. Оно являет собой яркий образец органической связи эстетики Полноты, и вводит азербайджанскую литературу, историю и культуру в ряд зрелых литератур и культур мира.

Камал Абдулла очень многим обязан мировой культуре. Миф и Письмо, греческие мифы и гомеровские поэты, «демократия» и «антидемократия» Атлантиды, архетип Древа плавно перешли на страницы трилогии и «Тайного Деде Горгуда», и помогли, таким образом, автору выйти из границ «традиционных исследований». Он «расширил» и углубил изучение истории собственного народа, «открыв двери» другим народам к ознакомлению с историей азербайджанцев. Будучи уверенным, что чем больше берешь у других народов с точки зрения культуры, тем полновеснее твой вклад в общечеловеческую культуру, Камал Абдулла брал у собственного народа крупницы мифоэтических сокровищ и возвратил их народу посредством художественного Письма.

Его творчество – важный момент в формировании новой азербайджанской националь-

ной культуры, нового культурного пространства, в котором скрещиваются Азия и Европа, христианство и ислам, зороастризм и иудаизм, арабский, тюркский, кавказский, иранский и славянский миры; культуры, которая пробует свои силы на международной арене, творчески соревнуясь с достижениями других национальных культур как равноправный член в содружестве культур европейских. Камал Абдулла вводит национальную специфику в литературное мировое пространство, тем самым обогатив ее новым пониманием и новой интерпретацией Мифа. Автор переосмысливает Дастан и возвращает в тему Востока и ориентализма художественное воплощение памятника мировой культуры и литературы «Китаби-Деде Горгуд». Вслед за научным изучением достояния азербайджанской и общетюркской литературы (им же самим, многими немецкими, турецкими и азербайджанскими исследователями), Камал Абдулла не только занимается реконструированием огузской «археологии», но и ее деконструкцией.

Р.Барт, рассматривая миф как вторичную семиологическую систему, исследует его функционирование в обществе как часть идеологии, что, по его мнению, заложено в самой природе мифа, программирующего массовое сознание и препятствующего критическому осмыслению заложенных в нем идеологических комплексов. В связи с этим задачу искусства исследователь видит в демифологизации и демистификации современной культуры. В литературе постмодернизма эти идеи Барта находят свое наиболее полное воплощение в творчестве В.Сорокина. «Огузское» творчество Камала Абдуллы мы вполне вправе отождествить с тем общественным настроением, которое в последние годы перешло на страницы национальных литератур и которое можно обозначить как «возвращение к истокам», провозглашение демифологизации и демистификации, полная свобода творчества, как антипод советской культуры, ограниченной идеологическим диктатом и канонами социалистического реализма. Для Камала Абдуллы значение мифа – это как некая вольно или невольно навязываемая социокультурная модель, принимаемая на веру. В этом случае миф осознается автором как иллюзия, обман, который надо выявить, разоблачить и подвергнуть демифологизации, то есть разрушению стереотипов мифопоэтического мышления.

Современное мифотворчество приобретает новые, более сложные формы, овладевая сознанием людей прежде всего через массовую культуру. Массовая культура отражает мифологию времени через мифологемы и архетипы. Мифологема – это сознательное заимствование автором мифологических мотивов, тогда как бессознательная их репродукция, как правило, обозначается понятием «архетип». По сути дела, речь идет о возрождении национального азербайджанского сознания, основу которого Камал Абдулла видит в культуре общетюркского памятника «Китаби-Деде Горгуд», книге предков азербайджанской нации. В поисках решения вечных вопросов человечества Камал Абдулла использует национальный Миф не в узко национальных/националистических интересах. В своей философской и мировоззренческой трактовке Мифа Камал Абдулла, вслед за Т.Манном, ратует за гуманизм.

Его трилогия – это одновременно и память, и временная перспектива, и Старое, и Новое начало! Автор «реанимирует» миф потому, что он помогает глубже осмыслить сегодняшний день, природу-колыбель и самих себя. Деконструкцией огузского мифа Камал Абдулла вводит в мировую литературу тему всепрощения путем очищения и отказа от мести, от кровопролития. В эпоху глобализующих войн, когда сильные мира сего решают наболевшие проблемы путем силы и террора, Камал Абдулла выносит всему миру предложение о Всепрощении. А Всепрощение означает прекращение кровопролития, войн, мести, и этот запрет идет от Мифа.

Всепрощение – это образ идеальной модели мира, которую автор создает в розовых тонах романа-фантазии «Долина кудесников». Всепрощение означает, что нет повода для мести, для кровопролития. Эта идея романа ставит Камала Абдулла в один ряд с авторами мировой литературы. Более того, идея всепрощения и отказа от мести, выдвинутая мусульманским писателем, – это вызов сильному миру сего, которые в погоне за золотом и нефтью создают своей «глобализированный мир», где национальным мифам, верованиям и традициям просто нет места. Идея Всепрощения, выдвинутая азербайджанским писателем, – это доказательство того, что азербайджанская литература и культура «доросла» до постановки проблем на мировом уровне; это литература, которой интересны глобальные проблемы, социальные потрясения, социальные изломы, поиски духовности, уважение к истории и традициям пред-

ков, национальное возрождение азербайджанского народа, думы Настоящего Азербайджанца. Мысль о Всепрощении, которую мы считаем сюжетной и идейной кульминацией романа, выдвинута прямым текстом, без путаницы шифров и кодов; это для того, чтобы она стала ясна, без всякого миража, всему миру: только путь очищения и всепрощения может создать на пострадавшей и измученной Земле не параллельный мир, а мир настоящий. Очищение и всепрощение должны произойти «до часа Страшного Суда» (строка из стиха Камала Абдуллы). Пока что человечество находится как бы «у бездны на краю» и должно сделать выбор – последний и окончательный – между продолжением сегодняшней борьбы (во всех сферах жизни) и всепрощением. Сегодня, как никогда, человечество должно следовать путем Алеши Карамазова: просить прощения «о! не себе, а за всех, за всех и за вся!», и пути Антигоны Софокла: «В моей природе – делить любовь, а не вражду».

Эту древнюю мысль в XXI век по-своему переносит, основываясь на истории своего народа, азербайджанский писатель Камал Абдулла. На Достоевско-камаловской идее Всепрощения встречаются два мира – мир православный (западно-восточный) и мир мусульманский – как знак того, что Земля у нас одна, и все мы ходим под одним Богом, потому и диалог культур, литератур, наций, этносов, регионов возможен и необходим. Диалог национальных литератур, отмеченных спецификой сохранения национальной самобытности, выявляет тенденцию к полицентризму, равноправному вектору отношений. Диалогичность в современных условиях выступает в качестве философского принципа осмысления окружающего мира и обеспечивает полноту его постижения возможностью совмещения двух позиций – позиции «вживания» и позиции «внезаходимости» (М.М.Бахтин.) Диалогичность же национальных литератур раскрывает обобщенности национального своеобразия творчества писателей и сам механизм вхождения инонационального литературно-художественного опыта в творческую практику. Выдвинутую нами гипотезу подкрепляет мнение Чингиза Айтматова, который считал, что «приоритетом нынешнего бытия являются национальные культуры. В регионах формируется новый взгляд на себя, свое место в мире. Как гармонично соединить рост национального самосознания с общечеловеческими ценностями? Разумеется, мы не ждем друг от друга окончательных ответов. Истина всегда в пути».

В своем поиске Истины и «боясь исчезнуть без следа», автор – как лирический герой, странник – верит «в память», потому и запечатлел во всем своем творчестве, в научных и художественных текстах, мир Мифа, мир, в котором жизнь человеческая объединилась с бытием мифологическим, создавая Полноту Бытия.

В творчестве Камала Абдуллы Прошлое и память о Прошлом присутствуют постоянно: это божественный, эпический мир мифа, единый мир отцов и прародителей, которые «первые и лучшие». Автор опирается на Прошлое как на идеал. Оно переплетается с Настоящим и Будущим, создавая некую Всевечность – константу универсального бытия.

Константа Всевечности дает нам право рассматривать творчество Камала Абдуллы как целостное явление, (несмотря на жанровые и эстетические различия), которое обогащает национальное и мировое культурное пространство новым видением собственной истории и новой интерпретацией Мифа, новым мышлением о Полноте бытия и о Вечности: не жить мезью, не сотворить себе кумиров и не жить одним миром. Это – философия Полноты Камала Абдуллы, которая вновь и вновь ставит автора-исследователя перед необъяснимой тайной: «Где истина?»

А Истина всегда в пути, – ответил бы Чингиз Айтматов.

ЛЯМАН БАГИРОВА

Н О В Е Л Л Ы

Комната с видом на горы

В память о Зеленогорске

В доме отдыха готовились к последнему заезду. Кончался бархатный сезон, и отдыхающих становилось меньше.

– Ну, все, дорогуша, – говорила пожилая кастелянша Софья Ивановна новой сменщице Маше, – теперь наше время! Гуляем! Очередные толпы попрут аж в декабре, на снег полюбоваться. А в октябре-ноябре тут грязюки полно, осень уже не золотая, а гнилая. Самое неходовое время. Только штаны протираем. А дома дел полно. Если в заезд человек десять наберется, радоваться надо.

– А обычно сколько бывает? – спрашивала Маша из вежливости.

– Так это смотря когда. В июле-августе только успевай поворачиваться, иной раз и все 200 мест забиты, и раскладушки приходится ставить, и белья порой не хватает, из дому, бывало, приносила. В сентябре уже поменьше, но тоже порядочно. Потом пусто. А в декабре и под Новый год – опять валят. А ты бы помогла мне, а? – просительно заглядывала женщина в глаза Маши. – Дома дел невпроворот, хозяйство, мужиков пятеро с моим стариком во главе, а я тут мух считаю. Поработаешь за меня этот заезд, а?

– Как? – не поняла Маша.

– Да так! – рассердилась Софья Ивановна. – Я же тебе русским языком говорю: впустую сидим! В заезд если человек десять наберется, то и рады. Да и опять же – какие люди. Все старички интеллигентные, малышни нет – значит, вопить и портить имущество некому. Молодежи тоже нет, шуметь некому. Благодать! Уставать не будешь. Ну, как?

– Ну, не знаю... А я справлюсь?

– Да тут и справляться нечего, – обрадовалась Софья Ивановна и принялась яростно взбивать подушку. – Двадцать дней всего! Комплекты белья раздала, застелила все, как полагается, ну, смотришь, чтобы не пачкали, не портили. А если кому лишнее одеяло или простыня понадобится, сообразишь сама... Каждый понедельник – смена белья. Главное, с людьми будь обходительной, улыбайся, твоя задумчивость не нужна никому. Люди жизнь прожили, отдохнуть приехали, когда смогли. Опять же за окном дождь, унылость. А посмотрят, что ты улыбаешься, так и повеселеют, и снова приедут потом. От разговоров не беги, выслушай терпеливо. Старички поговорить охочи. Смотришь, и они тебе за обхождение – кто шоколадку, кто пирожное, кто платочек подарит. И ты не обижай – бери! Им радость тоже – что-то дарить другому. Ну, поняла?

– Попробую.

– Ой, девка! Учить тебя да учить! Ну, ничего, поработаем вместе, научишься. Со мной не скучно!

Кастелянша улыбнулась, и короткий нос ее смешно вздернулся вверх. Маша улыбнулась.

– Так-то лучше, – удовлетворенно заметила Софья Ивановна, – ну, я пойду, еще номера оглядеть надо. А ты тоже посмотри, пообвыкни здесь.

И, шумно отдуваясь, она выплыла из подсобки.

Маша вздохнула и огляделась. Это была невзрачная востроносенькая девушка с серыми глазами навывкате. О таких говорят – кисель. Что-то неуловимо зыбкое было в ее фигуре, безвольном подбородке, в вечно припухших и красноватых подглазьях. Софья Ивановна, увидев ее впервые, разочарованно хмыкнула. Сама она была крепкой шестидесятилетней женщиной и, несмотря на полноту, двигалась ловко и уверливо. И людей любила себе подстать, так, чтобы «и дело в руках спорилось, и крови было жарко в нутрях». Маша под это определение никак не подходила, но Софье Ивановне выбирать было не из чего. Дали сменщицей, так изволь притерпеться и работать, а там, глядишь, и пообтесать можно под себя!

Маша была выпускницей медицинского техникума и знала, что любовь – понятие биохимическое и зависит от количества гормонов и медиаторов в человеческом организме. Но знать – одно, а чувствовать – другое... Молодой грузин Анзор обволакивал ее жаркими словами, и черные усики его дрожали так соблазнительно... И мир вокруг был звенящим и прекрасным... А потом Анзор получил вдруг письмо от матери и засобирался в дорогу. Маша провожала его на вокзале. Парень уверял, что вернется через две недели, не больше, просто занемогла мать, и он должен навестить ее. И Маша верила, что он вернется, и радовалась, что Анзор у нее такой ласковый, заботливый и любящий. И вообще – самый-самый!

Но Анзор не вернулся. Остался в своем благодатном краю, напоенном терпким вином и медовой пряностью хурмы. И Маша, словно четки, перебирала драгоценные воспоминания: программку спектакля, куда они ходили вместе, маленький флакон духов и названия неведомых блюд – *чурчхела*, *чахохбили*, *мужужи*, *пхали*. Они звучали как далекая музыка и обещание счастья в маленькой Машинной жизни. Анзор играл ее волосами, целовал теплые послушные губы и, смеясь, называл царевной Мирандúхт. И Маша верила, что она не просто Мария, а прекрасная грозноокая царевна из грузинских сказок. И горы откроют ей свое сердце так же, как раскрывается на заре холодный и нежный цветок эдельвейса...

Страдания по Анзору продолжались бы долго, если бы их решительно не пресекла подруга.

– Ты учти, – постукивала она ребром ладони по столу, – именно так сходят с ума! Сама медичка, должна понимать. Что, пусть?! Эгоистка! Мать в деревне одна горбатится, оболтусов ваших в школе грамоте учит, тебе помогает, чем может, жилье твое оплачивает. Или возвращайся к ней, или здесь зацепись. А ты тут ревешь и слоняешься из угла в угол! Не стыдно?!

– Стыдно, – признавалась Маша и снова набухала слезами.

– Еще скажи спасибо, что не залетела. Вообще кошмар был бы! В общем, подруга, слушай три указания врача! Первое – возьми платок, высморкайся окончательно и прекрати рыдать! Второе – заведи нового мужика и как можно скорее, пока ты к своему одиночеству не привыкла. Клин клином вышибают! Третье – устройся на регулярную работу, хоть уборщицей, хоть табельщицей в котельную. Но все лучше, чем в одну точку смотреть. Твои частные подработки – уколы, системы – это все не то. Нужна постоянная работа. Она лечит. Поняла? И учти – выполнение второго ука-

зания, конечно, обеспечить не могу – тут ты сама должна расстараться, но пока нос не вытрешь и на работу не устроишься – с тебя не слезу! Так и знай! А на работе, смотришь, и второе указание исполнится!

И ведь не слезла! Расспросила кое-кого, навела справки и чуть ли не за ручку отвела Машу в дом отдыха. Улыбнулась директору, что-то пошептала, и вот, пожалуйста, Маша на работе. Хоть и не по специальности, но... Маленькие, а все же деньги. Маленький, а все же выход в свет, разрядка.

... Завтрашний день начался с шепота реденького дождя и шаркающих звуков подъезжающих машин.

Как и предсказала Софья Ивановна, из них выходили аккуратные, чистенькие старички и старушки, тащили за собой чемоданы и сумки на колесиках. И вскоре человеческие шаги и перекатывание колес по мокрому гравию дорожек слились в один беспрестанный шелестящий звук. И на небо будто натянули серенькую домотканую холстину, в прорехи которой шуршал дождь.

Приехавших было немного. Маша насчитала 12 человек. Но большая площадка перед главным корпусом сразу наполнилась шумом. Приехавшие хорошо поставленными голосами приветствовали друг друга, истово раскланивались, лобызались. Было что-то театральное в их жестах, в манере держать себя.

– Артисты старенькие! – усмехнулась повариха, стоявшая рядом с Машей. – На пенсии уже, вот и приезжают, когда хотят, или когда получится. Привыкли всю жизнь играть и в жизни как на сцене себя держат. Ты не обращай внимания, у них так заведено. А так люди хорошие, интеллигентные, только обидчивые, порой как дети. И говорить любят!!! Как начнут рассказывать, где и когда на гастролях были, что представляли и как их принимали, так и не остановишь. Часами рты не закрываются! Здравствуйте, здравствуйте, Игорь Семенович! Рады вам! Нет, завтрак вы уже пропустили. Но на обед, конечно, борщ ваш любимый с фасолью, рыбный салат и пирожки будут. Все будет! Здравствуйте!

Маша смотрела, как повариха раскланивалась с приехавшими и ловила на себе заинтересованные взгляды. Мужчины все, как на подбор, были в светлых брюках и куртках, с редкими, зачесанными назад волосами, с цветными платками на дряблых шеях. Женщины разномастные – сублильные и в теле, но все суетливые, щебечущие без умолку.

«А глаза-то у всех тоскливые, – подумала Маша. – Болтают, будто заговаривают себя».

– А что это за прелестное дитя? – пожилой артист с лицом постаревшего Байрона смотрел на нее в упор. – Вы чудесны, как заря. Только почему-то у вас глаза грустные. Разве девушке с таким лицом можно грустить?!

Маша смутилась. Она еще не утратила способности краснеть по каждому поводу.

– Просто ангел! – почти пропел артист. – Ах, где моя молодость, где моя свежесть? Но все равно, это мой самый приятный приезд сюда. «Я встрети-и-ил вас, и все былое...»

Тут его прервал громкий смех, какая-то женщина в меховой куртке и странной шляпке с помпоном подхватила его под руку, и они зашагали к корпусу.

Маша и повариха посмотрели им вслед и прыснули. Артист шагал размашисто, женщина попевала за ним и помпон комично подпрыгивал в такт.

– Клош называется! – прошептала повариха. – Она всегда в этой шляпе ходит.

И помпон почему-то. Я же говорю – экземпляры еще те! Не соскучишься!

Последними шли две худощавые женщины. Одна – высокая, в черном брючном костюме, казалась еще утонченнее из-за фиолетового платка-чалмы. Шелковый платок этот облегал и шею и уходил за сиреневые бусины ожерелья. Лицо ее было бесстрастно, и золотистые, безупречной формы брови довершали классический образ.

Вторая – щупленькая, вертлявая, была похожа на грациозного и юркого зверька. И глаза у нее были под стать звериным – круглые, черные, живые, как ртуть, и невероятно любопытные.

– Балерины, – толкнула повариха Машу. – Смотри, как ноги выворачивают. Эта, что с чалмой – строгая, редко, когда слова от нее дождешься. А другая – болтушка, за двоих говорит. Ну, идем, обед скоро, да и ты вдруг можешь понадобиться.

Корпус наполнился голосами. Но у себя в подсобке Маша улавливала лишь неясный шум, похожий на щебетанье экзотических птиц. Заурядный дом отдыха в горах словно встал на котурны и приподнялся над землей.

– Кто тут кастелянша? – В дверь просунулась вертлявая мордочка, и черные глазки смерили Машу с ног до головы. – Зайдите к нам в восьмой номер.

– Милочка! – встретила ее высокая балерина. – У нас влажные простыни. Это совершенно невозможно. – Голос ее был тих и тяжел.

– Да-да! – затараторила вторая. – Не хватает еще, чтобы мы плевритом заболели. И покрывала тоже посмотрите, от них неприятный запах.

– Сейчас сменю, простите, – пробормотала Маша.

– И поскорее! – добавила вертлявка.

Высокая балерина сидела в кресле и выглядела безучастной. У нее была удивительной лепки голова, и каждый поворот шеи представлял ее в лучшем свете. Маша подумала, что чалма из фиолетового платка, длинные серьги и филигранное ожерелье были подобраны только затем, чтобы подчеркнуть благородство форм.

– А ты помнишь, Римма, как нас принимали в Вильнюсе? Чистота, уют! А какой успех был! А памятник Русалочке! А кофе в кавярнях! Ах! – вертлявка молитвенно сложила руки.

– Ну, все, пошла молоть мельница, – добродушно усмехнулась Римма. – Дались тебе эти столетние воспоминания. Какой еще кофе, Ляля?

– Ну, как же, Римусик, – вертлявая живо подскочила к креслу. – Кафе «Не-ринга», такое уютное, с синими столиками. Мороженое с орешками. Сырные печенья с тмином. И их знаменитое «перевернутое кава». Какой аромат!!!

– Это там, где больше молока, чем кофе? Нет, я больше черный люблю.

– А помнишь?.. – вертлявая кидала воспоминания, словно разноцветные ленты из сундука. Высокая отвечала нехотя и лениво и теребила бусину ожерелья.

– Все. – Маша застелила вторую простыню и поправила уголок подушки. – Через десять минут обед.

– Спасибо, милочка. Если вы понадобится, то... – высокая потерла лоб.

– Кастелянская в конце коридора, – сообразила Маша. – Да, конечно, обращайтесь, когда нужно.

Римма царственно улыбнулась, и они с Лялей вышли из номера.

Так прошло несколько дней. Софья Ивановна была права. Заезд был тихий, никакого шума, криков, громкой музыки. Старые артисты жили, погруженные в свой яркий отживший мир, и он казался им прекрасным. Артист с байроновским лицом иногда отпускал Маше витиеватые и старомодные комплименты, дама в клоше с пом-

поном ни разу не появлялась в столовой без перемены серег и браслетов. Вертлявая подсакивала то к одному столику, то к другому, всплескивала коротким дробным смешком, ахала, охала, громко восторгалась каждой мелочью: творогом с брусничным вареньем, свежим хлебом, золотистым бульоном в чашке. И только Римма, златобровая красавица Римма, жила в тонкой своей зачарованности, изысканной хрупкости бытия.

Стоял конец октября. Если можно было бы собрать все золото мира и набросить его звенящим плащом на деревья, горы, лохматые и низкие облака, то оно не передало и сотой доли того богатства, что окружало маленький домик отдыха. Все оттенки желтого – от густой камеди до нежного цвета свежесбитого масла – соперничали друг с другом и все же складывались в роскошную картину осени в горах. Но в роскоши этой нет-нет, да и протягивалась черная ниточка гнильцы. Словно по Пушкину: *«Так бури осени холодной в болото обращают луг и обнажают лес вокруг»*.

В один из понедельников, по графику, Маша зашла поменять постельное белье. В восьмом номере вертлявой не было – видно, ускакала куда-то восторгаться и ахать. Маша в глубине души обрадовалась. Неумная Лялина энергия уже начинала раздражать.

Высокая сидела в кресле, лицом к окну. Скульптурная ее поза напоминала статуэтку, подернутую пылью.

– Погодите! – властным жестом остановила она Машу, когда та, закончив с бельем, собиралась выйти. – Посидите со мной, пока Ляля не вернулась. Я давно наблюдаю за вами. Вы умеете хорошо молчать.

Маша послушно присела на краешек кровати.

– Что вы все время такая кислая? В вашем возрасте надо летать, а вы двигаетесь, как из-под палки.

Маша пожала плечами.

– Несчастливая любовь, – усмехнулась Римма. – Конечно, что же еще? И это причина ваших страданий и угнетенного вида? Вас ставили перед выбором: родина или любимый человек? Спокойствие родных или личное счастье?

– Нет.

– Вы были вынуждены избавиться от ребенка? Единственного, желанного, от любимого мужчины? Вы должны были танцевать, получив известие о смерти матери? Потому что гастрольный спектакль отменить невозможно. Вы стирали пальцы в кровь днем, а вечером на них же крутили фуэте? Вы чувствовали, как неудержимо стареете, и ваше место в жизни занимает другими – молодыми, быстроглазыми, с упругими телами? Медленно, но верно. И ваша рука из дающей постепенно превращается в берущую. Пусть немного – но берущую же! Вы чувствовали вслед за собой снисходительные взгляды? Они жгли вам спину?

– Не помню. Нет, кажется.

– Тогда в чем же дело? Вы не сердитесь, что я так говорю, но это правда. Был такой испанский поэт Гонгора. Он говорил: *«Любите, пока вас любят, пока вас время голубит. Все прахом пойдет под старость, что в молодости не растратишь. Оглянешься, а уж поздно – судьбу под уздцы не схватишь»*. По-моему, умное замечание. Пока в берега женщины бьет красный прибой, все краски мира открыты для нее, а вы словно живете в полусне.

Римма снова перевела взгляд к окну. Во дворе, словно маленькие суетливые гномики, мельтешили артисты. Собирался дождь, и они нагуливали аппетит перед

ужином.

– Вам не нравится здесь? – Маша сама испугалась своей смелости.

– Нормально, – пожалала плечами Римма. – Но это как билет в один конец. Как эта комната с видом на горы. Взгляд упирается в стену. Дальше – тишина.

– Какая? – не поняла девушка.

– Неважно. Был такой спектакль с Пляттом и Раневской. Слышали о них?

– Кажется, артисты. Старые, – неуверенно протянула Маша.

– Да, – усмехнулась Римма. – Старые. Были уже давно.

– А Ляля эта тоже балерина? – спросила Маша. Пауза затянулась и надо было ее чем-то заполнить.

– Да, была когда-то. Как и я. Мой муж танцевал с нами обеими. Фамилию его называть не буду, вряд ли вы ее знаете. У него было божественное тело, хоть ваяй или картины рисуй. Его было приятно любить. Потом он ушел к Ляле, снова вернулся ко мне. Затем опять захотел к ней. А она уже выскочила замуж. Он остался со мной. Пил. Потом умер. Через год овдовела и Ляля.

– Но ведь вы же дружите! – поразила Маша.

– И что? С возрастом стираются все грани, кроме одной – желания жить и видеть еще знакомые лица. У нас никого нет, кроме друг друга. Ляля болтушка, но это от страха. Она очень боится одиночества. А я сроднилась с ним.

Маша вспомнила слова подруги: «Пока ты к своему одиночеству не привыкла» и подумала, что это, наверно, правда. Что одиночество, подобно океанской воде в потопленном корабле, медленно заполняет человека и погружает его в тихое созерцание.

– Кроме того, с кем еще нам вспомнить время, когда «все было по-другому, и трава была зеленее»? – подмигнула Римма Маше. – Лялю хлебом не корми, дай по-вспоминать. И всем им тоже, – она кивнула на окно, где еще гуляли отдыхающие. – Все это глупости. Оптический обман памяти. Все было так же, как сейчас, может, еще тяжелее, только мы были молоды.

– Я пойду, Римма Викторовна. – Маша стояла в дверях с ворохом постельного белья. – Ужин начинается. Люди в столовую идут.

– Римусик! – влетела в комнату Ляля. – А ты так и просидела одна? Ну и зря! Воздух – нектар! Вечер – сказка! Я голодная, как зверь! А, это вы? – бросила она Маше. – Не знаете, что сегодня на ужин? Римусик, ты не представляешь, мне сказали, что неподалеку ярмарка кожаных изделий. И дешево. Настоящая кожа! Местные ку-стари такие узоры создают. Рыжая из оперетты барсетку купила, хвасталась! Прелесть! Поедем завтра, ну, Римочка, умоляю! – она умоляюще сложила губки, и морщинки над верхней губой стали отчетливее.

– Обезьянка ты прыгучая. Ладно, поедем, – Римма махнула рукой.

– Я тебя обожаю! Красавица моя! Сейчас, руки вымою, наведу марафет и – на ужин! – Ляля выпорхнула из комнаты.

– Идите. – Римма посмотрела на Машу. – А лучше – бегите отсюда. Нянечкой в детский сад, медсестрой, почтальоном, библиотекарем. Куда-нибудь. Но, бегите. Иначе и вы получите свою комнату № 8 с видом на горы. Бесконечность, упирающаяся в стену.

Она резко встала и вышла в коридор. Через секунду к ней присоединилась ре-активная Ляля. Из столовой доносился стук ножей и вилок, смех, разговоры. За окном чернела ночь.

*Две старые актрисы
В буфете станционном,
Отставив мизинчики,
Пьют чай с лимоном.
Пьют чай с лимоном,
С пирожным миндальным
И вслед поездам глядят
Ближним и дальним.
А поезда уходят,
Уходят, как время,
А поезда уходят,
Окнами сверкая.
Две старые актрисы
Вглядываются в темень.
– Который час?— спрашивает первая.
– Уже поздно!— отвечает вторая¹.*

– Нет, я все-таки не понимаю, зачем ты уходишь? – негодовала Софья Ивановна после отъезда отдыхающих. – Чем тебе здесь не понравилось? Тихо, спокойно, красиво, свежий воздух. Ну, а то, что дожди, так это всего лишь два месяца. С декабря опять людей навалом. Что случилось-то, объясни толком! Обидел кто? Ты чего молчишь? – переводила она взгляд на растерянную повариху.

– А я откуда знаю? – огрызалась та. – Что вы ко мне пристали? У нее и спрашивайте!

– Да ничего не случилось, – уговаривала Маша. – Просто к маме хочу поехать. Одна она у меня. Помочь надо.

– Ой, девка, темнишь что-то! Ну, ладно, не хочешь – не говори. Давай обходную, подпишу. Да что же это такое? – заводилась кастелянша по новой. – Не везет мне со сменщицами, хоть убей. Кто замуж сразу выскочит, кто – в декрет, кто бюллетенит все время, то теперь – мама. Как заколдовали это место, ей-Богу.

– Спасибо вам, Софья Ивановна! И вам спасибо! – Маша поклонилась поварихе. – Я напишу вам. И позвоню!

– Да иди ты... осторожно! – в сердцах плюнула кастелянша.

– Странная ты все-таки, – вздохнула подруга, провожая Машу на вокзале. – Ну, уехала бы сразу, если собиралась. Или сказала мне заранее, что не будешь работать, я бы не хлопотала. А так не очень хорошо получается. Мне теперь перед директором неловко. А честно скажи, – она дышала духами в воротник Машиного пальто, – нашла себе кого-то? К нему едешь? Ну, я же только рада буду!

– К маме! – улыбнулась Маша. – Спасибо тебе.

– Ну, не хочешь – не надо! До свидания! Звони хотя бы. Пиши. И маме привет! – последние слова были сказаны с иронией.

Поезд набирал ход, оставляя позади перрон, замелькали привокзальные огни. И вот уже погасли горы, съеденные туманом. Накрапывал дождь и Маше стало зябко. Она натянула одеяло до подбородка, попыталась уснуть, но почему-то отчетливо представилось лицо златобровой Риммы, неумная Ляля, дама в клоше, тоскливые глаза артистов. Вспомнился Анзор с его сладкой улыбкой, учеба в техникуме, зубрежка, частные подработки. Маше захотелось, чтобы мама, как в детстве, укрыла ее одеялом, подоткнула со всех сторон. И она радовалась, что завтра утром увидит маму,

¹ Стихотворение Льва Озерова «Две старые актрисы».

и что жизнь ее переменится к лучшему. Непременно переменится. Она верила в это.

Поезд мчался в мглистый рассвет. Маша спала крепко, чуть покачиваясь, и свет станционных огней косо падал на ее лицо.

Нота си

Попытка путевых заметок

У всякого города свой голос. Некоторые звучат как рокот прибоя, и шаги прохожих по мостовой напоминают шелест волн. У других – слабый и сухой голос, словно в тишине рассыпаются семена цветов, и птицы с нежным и торопливым присвистом склевывают их. У третьих – молчание в бесчисленных переплетах окон старинных домов.

Жаль, что нельзя составить оркестр городов мира. Цимбалы, тарелки и прочие ударные инструменты непременно представляли бы южные жаркие города. Струнные – средиземноморские и восточные. Клавишные и духовые – европейские северные, и чем ближе к северу, тем ниже должен быть звук. От флейты до тубы! Пока, наконец, все не поглотит белая пауза полюсов.

Шеки по звучанию напоминал ксилофон, издающий ноту си. Действительно – зажатый горами, подрумяненный красными черепичными крышами, обласканный близким небом и вымощенный речными камнями городок вобрал в себя россыпь щелкающих и мягких звуков.

– Цок-цок-цок! – ударялись в камни мостовой каблучки местных модниц.

– Чоп-чоп-чоп! – звучали подметки мягкой и упругой обуви.

– Шыс-шыс-с-с! – шаркали плоские туфли-беззадники.

– Чыз-з-з-з! – притормаживали машины.

– Шци-шци! – шелестели бесчисленные липы.

Древность в нем была спрессована на подносе знаменитой шекинской халвы из рисовой муки, орехов и киндзового семени. Горечь вечности подслащена медом и изукрашена витражами и росписью ханского дворца. Звезды там были крупные и близкие, как глаза любимого и любящего человека. И – местная достопримечательность, какой не увидишь в Баку! – по шекинскому базару так же, как много веков назад, по-прежнему шастали мальчишки-водоносы с кувшинами холодной родниковой воды, обернутыми для дополнительной прохлады мокрыми липовыми листьями. И – о, чудо! – много синеоких людей. Видно, горы и небо отразились в их глазах.

*Над домами, домами, домами
голубые висят облака –
вот они и останутся с нами
на века, на века, на века.¹*

Дому, в котором мы с дочерью квартировали, было больше ста лет – он стоял в самом центре исторической части города, близ караван-сарая, но дух древности был выражен в нем вернее, уютнее и тоньше. В нем не было кокетства, стилизации под старину – этого неизменного спутника всевозможных «исторических достопримечательностей». Отсутствовало все наносное, и старина представляла трогательной

¹Здесь и далее стихотворение Б.Рыжего «Над домами».

и подлинной, словно гладила тебя узловатой, отполированной веками рукою.

Я давно заметила, что всегда крепко и могуче врезаются в сердце безошибочные жесты, мгновения, в которых нет ничего лишнего. Память – о, да, память может хранить многое! – но сердце вберет в себя только самое настоящее. Филигранная чистота линий, простота и органичность пленяют воображение не меньше, чем сокровища Голконды, но при этом всегда полны тайного и хрупкого очарования.

Наш дом обладал этой вкрадчивой естественностью, растворенной в потертых и выцветших паласах на террасе заднего двора, в маленькой нише для дымохода, давно уже не работавшего и ненужного, но оставшегося как дорогое воспоминание, в полках-поставках для посуды, каких уже давно не встретишь не то, что в столичных, но и в деревенских домах. Но более всего эта естественность была в глазах хозяев, в неспешной певучей речи их, и особенно – в облике матери хозяина, седовласой невысокой женщине с прозрачными синими глазами.

Она страдала бессонницей и я, так и не свыкшаяся с горным климатом и резкой сменой температур, часто составляла ей компанию.

– Садись! – гостеприимно указывала она на отмытые до блеска и нагретые за день ступени деревянной лестницы. – Дерево живое, от него никогда не простудишься, оно здоровье дает, не то, что камень – все тепло из тебя вытянет.

Старушка была словоохотлива. Видно, в доме все давно привыкли к ее воркованию и не обращали на него внимания. В моем лице она нашла странного слушателя. Я большей частью молчала, изредка отвечая на вопросы и поддакивая, но особо не вслушивалась. Да и ей, кажется, это было не так нужно. Обрадованная возможностью поговорить, она журчала, точно небольшой ручеек – тихо, но неумолчно. Над горами поднимался сизый туман – предвестник утра, и это были блаженные часы прохлады.

*Только пар, только белое в синем
над громадами каменных плит...
Никогда никуда мы не сгинем,
мы прочней и нежней, чем гранит.*

До края моего сознания долетали вести о том, что сосед Али – замечательный человек, но вот сестра у него – старая дева Фатма – такая стерва, жизни ему и его семье не дает; в пух и прах разругалась из-за того, что ей на свадьбе племянницы не дали в микрофон поговорить («Не дай Аллах никому такую сестру! Бедный Али, вай-вай-вай!»). О том, что в прошлом году она сама(!!!) купила десять несушек, правда, восемь из них исправно несутся, а вот две – лентяйки, и если так дальше пойдет, то придется их зарезать. О том, что невестка у нее хорошая, тихая, не чета этим современным языкастым молодкам. Что старость – не радость, и она уже с трудом сама залезает на крышу, а ведь постоянно нужно что-то по хозяйству. Что столько денег ушло внучке на репетиторов, но труды не пропали зря, и внучка поступила в университет. И что Аллах не допустит такого горя, чтобы ей умереть раньше и не дожидаться единственного внука из армии («Только бы увидеть его глаза, только бы дожидаться, а потом и умереть можно спокойно!»).

В небе тихо догорали звезды и начинал румяниться восток.

– Ты что, дочка, предсказываешь по звездам судьбу? – старушка с интересом посмотрела на меня. – Молчишь, и все смотришь на них. Пустое! Не морочь себе голову этим!

– Нет, тетушка, я в эти предсказания не верю! Просто люблюсь, здесь, в горах, они такие низкие. Думаю о будущем.

– Прошлое тоже было когда-то будущим, как и будущее будет в свое время прошлым. И хоть звезды видели прошлое и увидят будущее, но никогда не расскажут о них. Им нет дела до нас.

– Интересно вы говорите, тетушка. Необычно так.

Старушка отпила чай из маленького стакана.

– Видишь тот самовар? – указала она на огромную 20-литровую махину в углу террасы. Целыми днями он стоял, попыхивая трубой, и чай из него казался мне необыкновенно вкусным. Старуха своими руками колола для него щепочки на растопку.

– До прошлого года я сама таскала его сюда. Поднималась по лестнице. И мне не было тяжело. А сейчас не могу. Если бы звезды когда-то в молодости рассказали мне о том, что я буду слабосильной, и лицо мое покроется морщинами, мне бы не хотелось жить.

– Но вы же видели вокруг старых людей. Знали, что так бывает со всеми.

– Э... Одно дело видеть, как это бывает с другими, другое – знать, что так случится с тобой. Может быть, звездам жаль нас, и поэтому человеку не дано знать своей судьбы... Когда мне исполнилось 19 лет, меня выдали замуж. Раньше девушку не спрашивали, за кого она хочет замуж и хочет ли вообще. Родители решали все, сводили детей, знакомили. Я не знаю, правильно ли это. Никто ведь своему ребенку плохого не желает, каждый мечтает о доброй судьбе, но я столько повидала пар, у которых все должно было быть хорошо, но которые живут несчастливо. Мне повезло. Мне понравился будущий мой муж. Правда, видела его и раньше. Он был сыном друга моего отца. Приходили к нам в гости, потом пришли свататься. Мы хорошо жили. Я от него слова обидного никогда не слышала, а уж чтобы руку поднять... Никогда!!! Он был настоящим сирдашем – сердечным другом, а не просто мужем. Таких нет сейчас. Трех детей вырастили. Дочка старшая – сама уже бабушка, средняя – тоже скоро дочь, внучку мою, выдает замуж, а я с сыном живу – он младшенький у меня! – в этом доме, куда невестой вошла.

Я вспомнила суровое народное присловье: «В тот дом, куда невестой вошла, от туда и гроб твой должны вынести» и усмехнулась. По всем меркам восточного понятия о семье эта женщина прожила достойную жизнь.

– Сорок лет мы с ним прожили, – мерно продолжала она, – как в сказке. И умер он тихо, как птица, сел завтракать, попросил налить ему чаю, а пока я несла стакан, его не стало. В одно мгновение. – Глаза ее увлажнились и стали совсем прозрачными. Будто на дне чистого пруда мерцали два голубых камешка. – Иногда вижу его во сне. Говорю: что там делаешь, наверно, забыл о нас? Говорит, скучно, тебя жду, но ты не торопись пока. А я не тороплюсь, только все равно сердце скучает. Ну, а как не скучать – ведь отец моих детей! – последние слова она произнесла строгим тоном, выпятив чуть дрожащий подбородок.

*Пусть разрушатся наши скорлупы,
геометрия жизни земной –
оглянись, поцелуй меня в губы,
дай мне руку, останься со мной.*

– Вот ты говоришь – будущее. Если бы звезды тогда, в мои 19 лет, сказали мне, что я буду доживать одна и не с кем будет тихим словом перемолвиться, я бы тоже

не захотела жить. Дети хорошие, уважительные, внуки – отрада моя, но у них своя жизнь, свой час, и нельзя их тянуть в свое время. Нет, дочка, может, самая большая милость судьбы в том, что тебе не дано ее знать.

За стеной послышался шум. Закудаhtали во дворе куры, встал хозяин дома, а за ним и хозяйка, мило заспанная, но неизменно улыбочивая, отправилась на кухню. Утро вступало в свои права, и расплавленная синева уже потекла с неба, процеживаясь сквозь облака.

– Ты опять не спала, мама? – озабоченно спросил хозяин. – Наверно, забыла принять свое лекарство.

– Сынок, у старых людей плохой сон. К тому же и гостье нашей не спалось. Непривычно им у нас.

– Нет, мне очень нравится, что вы?! – поспешила разуверить их я. – Просто жарко и впечатлений много, все такое красивое! Сейчас вот позавтракаем и пойдем гулять.

Мать хозяина посмотрела на меня. Голубые камешки на дне ее глаз погасли, и они снова стали обычными, прозрачно-синими. Она улыбалась мне, и лицо ее было приветливо-непроницаемым.

– В добрый час, в добрый час! – проворковала она и стала спускаться по лестнице. – Пойдите еще в этнографический музей, в исторический, в дома-музеи. У нас много их.

Мы позавтракали и вышли. Начинался последний день нашего пребывания в городе. Надо было еще многое обойти, многое осмотреть, запастись подарками. Да и много чего нужно было сделать, чтобы утишить в сердце и унести с собою маленький разговор под звездами.

*А когда мы друг друга покинем,
ты на крыльях своих унеси
только пар, только белое в синем,
голубое и белое в си...*

Кузнечик дорогой

Не до нас ей, жизни торопливой
И мечта права, что нам лгала.

А.Блок

Случилось это давно. Учились мы тогда в институте, на филологическом факультете, и все, как на подбор, подавали большие надежды. Ну, а какие надежды на филологическом? Двадцать пять девиц, из которых две-три – синие чулки, а остальные двадцать две – облака духов, ножки, ручки, пальчики, фигурки, грудки, глазки. Томное дыхание, тонкие шейки, вытянутые в ожидании счастья. Филфак!!!

Я, видно, оказалась яблоком зимнего сорта. Женщина проснулась во мне много позже. В свои 19 я была самым натуральным синим чулком и даже не чувствовала этого. Училась увлеченно, с охотой, вгрызаясь, как молодой бультерьер, в чужие мысли и фразы. Девочки вокруг жили настоящим и смотрели на мир не книжными, а

своими глазами. В этом было их преимущество предо мною и одновременно слабость. Уход в свой мир – это щит от мира настоящего. И душевная консервация. Я будто копила в себе силы для того, что могло понадобиться потом.

Все было обыкновенно до третьего курса. Зачеты, экзамены, лекции, семинары. Античная литература, устное народное творчество, Золотой век, Серебряный век, морфология, синтаксис.

На третьем курсе к нам перевели девушку из Пятигорска. С первой же минуты, как она в сопровождении декана переступила порог аудитории, мы поняли, что пришло что-то необычное, даже неведомое. И это сразу вызвало ответную реакцию. Защитную. Мы на всякий случай замерли во внутренней стойке. Ату неизвестную! Ату ее!!!

В ней было обыкновенно и в то же время необычно все. Рост, стандартный для южной девушки, – до 1,70 см. Вес – нормальный, не полная, не тощая. Талия, неширокие плечи. Грудь – уверенная тройка, обтянутая зеленой водолазкой. Темно-русые с рыжиной негустые волосы, темные ресницы, прямые брови. Белое, чистое лицо, зеленые глаза.

Стоп! Иной цвет глаз, кроме карих и черных, у нас встречался редко, поэтому привлекал внимание. Люди с серыми, голубыми и ярко-зелеными глазами, без примеси желтого и болотного оттенков, казались пришельцами из иных миров.

Имя ее тоже было необычным – Виленка. Ну, в то время такая аббревиатура встречалась часто. Владлена, Виленка (Владимир Ильич Ленин). Дань времени. Истории. Ни плохой, ни хорошей. Нашей. Наших родителей. Их молодости, их идеалов. Для них она была надОценочной, потому что была родной, и в ней они были молоды.

Взгляд Виленки был холодным, спокойным и уверенным. Эта девушка в неполные двадцать лет знала про себя все. Зачем она здесь, чего хочет от жизни и что в состоянии предложить ей сама. Будто собралась на свидание со славой и навела на себя красоту.

Наши не приняли ее напрочь! Записная красотка и староста группы попробовала было задать несколько невинных вопросов – какую музыку любит слушать, что читает, как там в Пятигорске, и все в таком же духе – и получила вежливый, в меру развернутый ответ. Но без улыбки, без теплых огоньков в глазах, сразу располагающих к себе собеседника. Сама ответных вопросов не задавала. Сидела, положив перед собою руки с недлинными, но изящными пальцами. Ноготочки чистые-чистые, розовые, без лака. И в этом тоже был вызов нам, дорвавшимся из серых школьных лет до яркой косметики.

Общий вердикт был таков: задавака и эгоистка! Себе на уме! Отношение к ней сразу определилось: оценивающе-настороженное. Стратегия выстроилась: выжидательная! Ахтунг! Среди нас – чужачка, невЕдомка! Лишнего не болтать, быть предельно предупредительными.

Виленку все это занимало мало. Как с гуся вода. Виленка была гусем в стаде квочек и уток. Или все-таки прекрасным лебедем? Не знаю...

Педагоги к ней относились ровно. Но и они заметили стеклянную стену самосохранения. У нас есть хорошее выражение: «кипит-растворяется». Так говорят, когда хотят похвалить невестку, характеризуя ее за умение влиться в новую свою семью, жить ее интересами, вникать в проблемы и радоваться ее радостям. Так вот, Виленка была явно не из «растворимых». Она существовала как некая взвесь в стакане жизни, не опускаясь на дно, не перемешиваясь и не всплывая.

Несколько раз педагоги провоцировали ее на откровенность, даже гнев. Мол, чему вас там, в Пятигорске, учили, ах, неужели вы даже этого не проходили? Педагоги вообще не очень любят, если кто-то приходит к ним со стороны, предпочитая получить первокурсников и учить их по своей методе. Это придает им значимости в собственных глазах. Приятно быть Пигмалионами.

Вилена на провокации не поддавалась, отвечала ровно, даже бесцветно, без модуляций. Голос у нее был приятный, сдержанный, но не запоминающийся. Таких много. «Да; нет; вы правы, мы это еще не начали изучать». И все. Снова маленький сведенный рот, пухлые губки с перламутровой помадой.

И еще. Все заметили, что она часто употребляла слово «непрененно» вместо «обязательно». «Перепишешь конспект? – Непрененно (вместо «обязательно»). – Придешь на субботник? – Непрененно». Этот синоним отдавал замшелостью и тоже казался нам стремлением выделиться любой ценой.

Наконец одна педагогесса, дама закритического возраста, так пылко и темпераментно проводившая семинары, что мы ощущали себя словно в итальянском дворе, прямо заявила ей:

– Не пойму я вас что-то, Гацуева! Какая-то вы не такая! Как Снежная Королева, честное слово! Ну, хоть улыбнитесь, что ли! И, кстати, почему вы постоянно употребляете слово «непрененно» вместо «обязательно»? Оно вам так нравится?

Вилена вежливо улыбнулась, не размыкая губ. И тотчас снова свела их. Затем ответила тихо и веско:

– Слово «обязательный» употреблялось исключительно в значении «любезный». А мы говорим совсем о другом явлении. «Непрененно» – это значит «во что бы то ни стало, любой ценой».

– Умничаєте вы, Гацуева, – после недолгой паузы сказала преподавательница. – Хорошо, садитесь.

Сведений о ее жизни удалось собрать крайне мало. Родители в разводе. У каждого новые семьи. Здесь живет в семье двоюродной тетки. Тетка – вдова с двумя детьми-школьниками. Пожалуй, все.

Что собирается делать по окончании вуза – пока твердо не решила. Есть ли парень – медленное «нет». Хочет ли замуж – пока об этом не думала. На каждый вопрос – уклончивый ответ. Частицы – глагол – существительное. Не более.

На занятиях отвечала так же ровно. Учебный материал – от корки до корки, без дополнительных сведений. Придраться было не к чему, но симпатий не было тоже.

– В тихом болоте черти водятся! – однажды услышала я от педагогессы по фonetике. Я проходила мимо группы педагогов, стоявших у окна на перемене. Впереди меня шла Вилена. Тонкая талия, перетянутая кожаным ремешком, коричневая юбка клиньями (модно!), подрагивающая грудь под зеленой водолазкой. И тонкий шлейф французских духов «Интим». Тогда я еще не знала, как они называются. Только волнующий аромат ландыша и ванили. Свежесть и страсть...

Педагогов-мужчин у нас было мало. Красивых еще меньше. В основном все толстые, с отвисшими животами, женатые, отягощенные заботами и собственной значимостью. Возможно, в присутствии молодых созданий женского пола они напивались энергией и казались себе сильнее, краше и лучше. А может, и наоборот. Может, для них уже загорелся красный свет светофора, а для нас все сильнее разгорался зеленый... Кто знает?..

На экзамене по русской литературе первой половины XIX века Вилену вызвали

третьей. Она взяла билет, неспеша села, что-то принялась чертить на листке.

Принимала экзамен у нас пожилая преподавательница со снежно-белыми, чуть подсиненными волосами. Плечи у нее были такими узкими и покатыми, что современное платье казалось на ней нелепым. Гораздо лучше бы она смотрелась в старинном наряде с декольте и рукавами-буфами, а белое облако волос только придавало ей воздушности.

Однако, несмотря на свою «неотмирасегойность», дама была драконом и гоняла нас по программе более, чем усердно! Помню огромные тексты, что мы должны были заучивать наизусть. Пушкин, Лермонтов, Рылеев, Жуковский. Последний давался почему-то особенно трудно.

Ассистировал ей преподаватель по фамилии Даров. Пожалуй, единственный из профессорско-преподавательского состава, отличавшийся холеной внешностью. Сорок два года. Черные бархатные глаза под темными ресницами, белое лицо без румянца, прямой нос и чувственные красные губы. Начинаяющая полнеть фигура вполне respectable и уверенного в себе человека. Небольшая эспаньолка, черная с легкой проседью. Чернь с серебром. Почему-то этот вторичный половой признак мужчины волновал нас, 19-летних. Эспаньолка, видимо, являлась предметом особых забот, и когда Даров на занятиях склонялся над чьим-нибудь столом, можно было явственно ощутить аромат духов от нее.

Вилена вышла отвечать. Говорила четко, не быстро и не медленно. Бесцветно. «Дракониха» молчала, изредка кивала подсиненным облаком волос, постукивала ручкой по зачетке. Вроде, была довольна.

По третьему вопросу требовалось продекламировать какое-то стихотворение Жуковского. Вилена скомкала листочек со своими ответами и сузила глаза.

– Я не буду это читать.

«Дракониха» от удивления даже ручку выронила.

– Почему? Объяснитесь. Вы что, не знаете этого стихотворения?

– Знаю, – спокойно ответила Вилена. – Мне оно не нравится. Я буду читать другое.

Это было настолько неожиданно, что у «драконихи» приоткрылся рот. Даров взглянул на студентку заинтересованно. В аудитории повисла нехорошая тишина. Мы кляли строптивую девчонку и понимали, что сейчас у «драконихи» испортится настроение. Ничего хорошего это не сулило. Экзамен только начался.

Не знаю, читала ли Вилена «Театр» Мозма, но повела она себя точь-в-точь по методу Джулии Ламберт. «Если можешь, не делай паузы, но если взяла ее – тяни, сколько можешь!»

Вилена тянула. Сузив глаза и сцепив руки, она глядела прямо перед собой. Не в глаза «драконихи», но и не в стол. Взгляд уперся прямо в брошь на блузке преподавательницы. Та медленно багровела.

Положение спас Даров. Хорошо поставленным, прямо-таки актерским, бархатым баритоном он произнес:

– Это любопытно, во всяком случае. Тамара Искандеровна, может быть, дадим девушке шанс? Ведь не каждый день попадают такие экземпляры.

«Дракониха» поджала губы, кинула на Дарова выразительный взгляд, мол, поговорим потом, и кивнула.

– Читайте, – просипела она Вилене.

– Ломоносов, – объявила та негромко. – «Стихи, сочиненные по дороге в Пе-

тергоф».

– Но... – слабо запротестовала «дракониha». – Это же не XIX век.
Тут Даров поклонился ей взглядом и она замолчала.

*Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!
Препровождаешь жизнь меж мягкой травой
И наслаждаешься медвяною росой.
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,
Но в самой истине ты перед нами царь;
Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен!
Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен,
Что видишь, всё твое; везде в своем дому,
Не просишь ни о чем, не должен никому.*

Вилена читала мерно и волшебнo. Душа рвалась к небесам. Мы забыли об экзамeне и слушали, открыв рты. Время растворилось. «Дракониha» смотрела на Вилену не то с ужасом, не то с восхищением. Мамонт Ломоносов, прочно и уверенно забытый нами на втором курсе, как и вся тяжеловесная литература XVIII века, вдруг предстал живым, чувствующим и очень одиноким человеком.

На последней фразе голос ее дрогнул. Она не заплакала, но мы отчетливо услышали этот дрогнувший голос. Я была более стойкой, чем сейчас, но отчего-то мне стало горько-тревожно. Будто что-то печальное и болезненное из моего будущего дотронулось до меня, еще не подозревающей и не предвидящей ничего, и я поняла, что где-то это стихи и обо мне, о том, что никогда мне не быть свободной и беззаботной. И всегда к этому стремиться. К внутреннему ощущению свободы, как пространства. Простора. «Не должен никому»... Возможно ли это?..

– Bravo! – взрезал тишину голос Дарова. Он обволакивал Вилену бархатом взгляда. – Вы учились где-нибудь декламации?

– В театральной студии при институте, – ответила она. Голос стал снова бесцветным. Перламутровые губки сомкнулись. Непроницаемость, как щит.

Даров облизнул губы. «Кузнечик дорогой», – выдохнул он машинально. Инициативу перехватила «дракониha»

– Вы меня поразили, Гацуева, – проскрипела она. – Учитывая ваш хороший ответ по другим вопросам и то, как вы прочли стихотворение, я поставлю вам «пять». Хотя, вы, наверно, понимаете, что это с натяжкой. Вы выбиваетесь из правил, Гацуева. Благодарите Андрея Руслановича. Если бы не он... Ладно! Следующий! Кто готов?

По нашим рядам прокатился восхищенный и завистливый рокот. Получить «пять» у «дракониhi» было событием масштабного значения!

Вилена скользнула по Дарову неясным взглядом, молча кивнула-поклонилась. Вышла из аудитории, оставив после себя аромат ландыша и ванили. Свежесть и страсть...

Что произошло потом, нетрудно догадаться. Да, через какое-то время она сошлась с Даровым. Он ушел из семьи, от единственной, горячо любимой дочери. Произошло это уже после того, как мы закончили институт. До этого они вели себя предельно осторожно. Я же говорю, она производила впечатление человека, твердо знающего, чего хочет от жизни и что может предложить ей сама. А предложить ей было много чего. Молодость, красота и наипаче всего – харизма.

Но Даров не был любовью. Он был трамплином. Грянула перестройка, наступили трудные времена. Каждый выживал, как мог.

Даров к тому времени подходил к 50-ти. Некоторые в этом возрасте обзаводятся внуками. Но Даров дышал своим «кузнечиком дорогим».

Встретив на улице дочь, он переходил на другую сторону. Чтобы не встретиться взглядом, не поздороваться. Девочка училась тогда в 9-м классе. Жена Дарова оказалась гордой и интеллигентной. Выдранные волосы изменщика и разлучницы не летали по институтским коридорам. Она не приходила жаловаться к нему на работу. Хотя сам институт гудел как улей. Но Даров и «кузнечик дорогой» жили по правилу: «побрехают и перестанут».

Даров разменял трешку в центре, купил жене и дочери небольшую двухкомнатную квартиру. Купил и однокомнатную на окраине для себя и «кузнечика». И был счастлив. Ему нравилось, что Вилена называла его Дюшенька. А она по-прежнему была «кузнечиком дорогим».

С годами его матовая кожа немного усохла и приобрела оттенок слоновой кости. Глаза потускнели. Эспаньолка была уже не чернь с серебром, а серебро с чернью. Ему уже больше нравилось валяться на диване в толстых носках и читать толстые журналы. Или смотреть телевизор.

А Вилена по-прежнему любила красивое белье, тонкие колготки и французские духи «Интим». И тело ее было упругим и чуть влажным от желания.

Филологом она не стала и работала в какой-то юридической фирме. С теткой и прочими родными не общалась. В новую жизнь старые родственники не вписывались...

...Через семь лет Вилена сузила глаза и спокойно сказала:

– Дюшенька, я ухожу.

– Куда? – не понял Даров. На самом деле он все понял в ту же секунду, но хотел ошибиться. Боже, как он хотел ошибиться!

– Вообще ухожу, – уточнила Вилена, подводя глаза. – Мне надоело быть нянькой. Обед есть на три дня. Белье чистое в шкафу. За квартиру я заплатила позавчера. За год. И, пожалуйста, Дюшенька, без истерик. Имей уважение к тому времени, когда нам было хорошо.

– У тебя кто-то есть? – Даров еще не терял надежды ошибиться. Кто-то есть – это лучше, чем если она уходит в никуда. Это ей просто кто-то затмил глаза. Он, Даров, это поправит. Будет трудно, но он поправит. Он вернет ее. Борьба с соперником вдохновит, сообщит ему силы. А вот если она уходит в никуда – это хуже. Это значит, – он сам, Даров, ей надоел. Такое поправить трудно.

– Это неважно, – пожала плечами Вилена. – я все равно уйду.

Даров попытался ее ударить. Но Вилена была гибкой. Она увернулась. Рука Дарова попала по столу с безделушками и косметикой. Он одним махом смахнул все баночки-тюбики со стола.

– И что? – Вилена смотрела на него с интересом и чуть насмешливо. – Убьешь меня?

В эту минуту она была чудо, как хороша. Зеленоглазая, гибкая, полногрудая, с тонкой талией. Темно-русые в рыжину волосы. Лиса. Жизнь – лисий хвост. Навероятно красивый, пушистый, с белым шариком на конце, и очень гибкий. Тебе кажется, что ты его схватил, а он грациозно повернется в твоей руке и – поминай, как

звали!

– А ты стерва, – сказал Даров через минуту, ненавидя и любясь ею. В левой стороне груди что-то горело и тяжело ворочалось. Словно огромными лопатками мешали халву в чугунных тазах. Даров помнил эту картину из детства. Тогда запах халвы казался чудным и нежно-сладким. Сейчас было тяжело и противно-приторно во рту.

– Стерва – это мясо, – спокойно сказала Вилен. Она покрасила губы перламутровой помадой и сейчас смотрела на него в упор. – Жилистое, провяленное мясо. Его не укусишь. Только стервятнику это под силу. Отсюда и слово – стервятник. Он ест стерву. У них клюв для этого мяса приспособлен.

Даров кинулся к ней. Но зацепился ногой в толстом носке за баночку с кремом. Упал. Вилен постояла минуту над ним, потом решила, что поднимется сам и вышла, притворив за собой дверь...

...Прошло двадцать лет, прежде чем я вновь услышала о ней.

Но вначале судьба подарила мне встречу с дочерью Дарова. Это случилось в одном из горных пансионатов на отдыхе. Я делила стол с молодой и миловидной женщиной лет тридцати трех. Она была с семьей – мужем и двумя детьми, мальчиком и девочкой.

Что-то в ее лице показалось мне знакомым. Глаза, руки, лицо? Нет, не совсем то. Но когда она склонилась над тарелкой дочери, помогая той есть, я вспомнила. Точно такой же наклон головы был у ее отца, преподавателя Дарова, когда он склонился над нашими тетрадями, и мы млели от запаха его парфюма.

Мы перекинулись несколькими фразами. Завязалось знакомство. На курорте много праздного времени. Оно сближает людей, ни к чему не обязывая их в дальнейшем. Через несколько дней я уже точно знала, что она дочь Дарова.

Она глухо и скупно говорила о нем и его смерти. По ее словам, четыре года он жил один. Совсем поседел. Черни уже не было. Сплошное серебро.

Потом, в один из теплых весенних дней, просто заснул и не проснулся.

Ни она, ни ее мать не простили. И не навестили.

– Я не прощаю его. Но когда представляю себе, что он умирал одинокий, всеми брошенный, может, голодный, и никто не держал его за руку в последнюю минуту, то не прощаю и себя. И все время плачу.

Но все надо делать своевременно.

Она пошла вперед, по кипарисовой аллее, прямая, миловидная. Рядом ковыляли малыши – внуки Дарова. И горное солнце нежно светило на ее матовой, как у отца коже.

Через двадцать лет, в апреле 2008 года, у станции метро «Удельная» в Санкт-Петербурге я увидела знакомый силуэт. И не удивилась. Мы должны были когда-нибудь встретиться. И не случайно, что это произошло именно здесь. «Удельная» – таков удел...

Вилен изменилась мало, но хорошо. Исчезла только юношеская округлость щек, черты стали строже и резче. Это придало ей естественности. Сущность выступила из легкого ажюра юности и предстала, какая есть.

В остальном все было так же. Те же зеленые глаза, подведенные стрелками, темно-русые в рыжину волосы, посеребренные на висках. Брючный костюм облегает стройную фигуру. Губы стали чуть тоньше, но перламутровая помада на них та же.

Вся вытянута в струночку. Я вспомнила, как называл ее Даров. «Кузнечик дорогой»...

По-моему, она была не особо рада меня видеть. Я возникла из прошлого, которое ей хотелось закрыть, как запирают старые вещи на чердаке.

Мы вежливо расцеловались. Спросили друг друга о житье-бытье. Она была замужем второй раз. Даров был не в счет. От первого брака был сын-студент, от второго – дочка, заканчивала школу. Все, как обычно. Сама нигде не работала и не хотела. Да и не было необходимости в ее работе. Семья была обеспеченная.

Мне все же не терпелось спросить ее о прошлом. Невозможно было поверить, что из такой неординарной девушки так ничего и не вышло. Или она обещала больше, чем смогла реализовать?..

Но она прочитала вопрос у меня в глазах. И предупредила его.

– Даров умер, – сказала она, и в лице ее ничего не дрогнуло.

– Ты вспоминаешь о нем?

– Нет. – Вилена была верна себе. «Да», «нет», «не знаю». Четко и непроницаемо.

Пауза затянулась. Я предприняла последнюю попытку.

– Неужели даже на могиле у него никогда не была?

Она усмехнулась краешком губ и произнесла:

*По несчастью или к счастью
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.
Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищешь,
Ни тебе, ни мне.¹*

Я все поняла. Говорить больше было не о чем. Пепелище – это ведь и обо мне. Я тоже для нее была пепелищем.

Вилена глядела на меня и держала паузу.

– Ну, всего доброго, – нашлась я. – Я тут в командировке, завтра уезжаю. Рада была встрече.

– Взаимно, взаимно, – кивнула головой Вилена. – Привет семье.

Она пошла вперед легкой пружинистой походкой. Стройная, вытянутая в струночку. «Кузнечик дорогой» со станции Удельной...

Филемон и Бавкида

... О, счастье мое, единственное, снежное, искристое мое счастье, где ты? В каких несбывшихся далях-глубинах рассеялось, затерялось? Да и было ли ты – обжигающее, золотое, из света и страсти сотканное, не привиделось ли?.. Качается в сердце моем печаль по тебе, и поет, поет синяя птица твоя, пугливая, незабвенная, насмешливая. Эх... Бессмертное счастье мое, дом мой, где ты?..

Вспыхивают, дрожат огоньками воспоминания. Зеленый ковер, гасящий звуки, красавец-тополь за окном, книги. Некрасивая девочка читает о Марии Кюри. Зачем?

¹ Стихотворение Геннадия Шпаликова.

Что в имени тебе ее? Тебе, заведомо призванной вести жизнь женщины добропорядочного восточного семейства: стряпать, принимать гостей и быть как все. Но мелькают в смуглых пальцах рассыпанные страницы, оседая на сердце, и учит девочку великая полька цельности и СВОЕЙ дороге.

«Если тебе дали линованную бумагу – пиши поперек», – прошита душа девочки судьбою наосось, и только ковер – незыблемость дома – гасит неясный ропот. Но уже печально вглядывается мама в упрямые черты, прозревая особый путь, и тревожно ей за дочку. «Ведь напишет, напишет судьбу свою поперек, хоть сотни линованных бумаг подложи».

И вот уже нет матери, сверкнула и рассыпалась, как искра, и стала частью прошлого. И дом перестал быть Домом, стал пристанищем, потом складом пыльных реликвий, неряшливых и сирых. И сотни линованных страниц исписаны поперек, а счастья нет в моей душе, и нет покоя... И не будет, потому что иду по СВОЕЙ дороге: «ведь я сочинитель, человек, называющий все по имени и отнимающий аромат у живого цветка»!..¹

... Это не досужий вымысел, не фантазия сердца. О, нет! История эта проста, обыденна и бессмертна, ибо только в повседневности и случаются порой истинные чудеса. Я позволила себе лишь скрыть имена героев, чтобы земная тоска не замела память о них.

Они выходили из дома всегда вдвоем. Он – высокий, худощавый, серебристо-седой. В неизменном пепельном костюме весной и летом, в сером пальто, побелевшем на швах – зимой.

Она – маленькая, худенькая, суетливая. С подстриженными в кружок густыми седыми волосами и детской челочкой над карими, всегда удивленными глазами. В сером платье-халате летом, черном пальто с порыжевшим воротником – зимой. Кто-то из соседней метко окрестил их Пат и Паташон². Прозвище это, остроумное и жестокое одновременно, пристало к ним навсегда. Впрочем, они вряд ли догадывались о нем, существуя в каком-то своем мире, соприкасавшемся с внешним, но, словно стеклянный перевернутый колокол, защищавшем от него.

Повинуясь даже не женскому, а какому-то кошачьему любопытству, я часто наблюдала за ними, идя на работу по утрам или скашивая взгляд на их маленький деревянный балкон, серый от времени и увитый с одного края серо-зеленым диким виноградом. В другом углу балкона стоял деревянный шкаф, в котором, видно, хранили когда-то домашние заготовки, а сейчас – пустые банки. В пору своей молодости шкаф был ярко-голубым, но сейчас тоже стал мышинного цвета. Бакинское солнце, яростное и всепроникающее, не меркло, а словно ступешивалось в этой симфонии серого.

Как-то я осмелилась спросить у свекрови о них:

– А я знаю?! – пожала плечами она. – Вроде как, она – его вторая жена. Взрослые его дети не приняли ее, посчитали – матери ихней изменил и перестали с ним знаться. Это ее однокомнатная квартира, она до него замужем не была. Он все детям оставил, переехал к ней. Дети не приезжают. Ну, живут как-то, пенсия, конечно, ко-

¹Строка из стихотворения А.Блока «Когда вы стоите на моем пути...»

² Пат и Паташон – датский дуэт актеров-комиков эпохи немого кино. Пат – высокий и худой, задумчивый меланхолик; Паташон – низенький толстяк, подвижный и шустрый. В настоящее время их имена используются как синонимы слов «высокий» и «маленький» – нарицательным именем Пат и Паташон называют двух людей с очень разным телосложением.

печная, а где раньше работали – не говорят, скрытые больно! (свекровь так и говорила – «скрытые», без «н»). А чего нос задирать-то, – заводилась она, – все среди людей живем, поговорили бы по-людски, по-соседски, так нет, все только сами с собой, фанаберничают!.. Да и ладно, мне-то что, так уважительные, здороваются, но смешно с них – чистые Пат и Паташон!

Так шел день за днем, Пат и Паташон продолжали существовать, окруженные и защищенные своим колоколом, и веяло от их фигур, так комично смотревшихся рядом, какой-то трогательностью и ... стойкостью. Эти двое были НАОСОБЬ: они ходили по земле, но будто парили над ней. Он – шагавший широко и размашисто, она – семенившая рядом, были как посланцы другого мира – непонятного, но притягательного, словно звук флейты среди трубного звона.

...Был зимний день, 10 декабря 2002 года. Баку завалило снегом.

О, это непростые слова для любого бакинца! Они наделены страшно-волшебной силой! Кто-то боится снега, как огня, потому что город не приспособлен к зиме или, как говорят старожилы, «Баку снег не подходит». Это все же летний город. Нам нипочем 50-градусная жара, но +2 для нас – уже трескучий мороз. Особенно при ветре. Он проникает под одежду, он высвистывает, воеет, хохочет, вцепляется ледяными руками в горло, вбивает вашу голову в плечи, и вы бежите, поскальзываясь, падая, к автобусу, к метро, скорей домой, к горячему супу и чаю! Снегу радуется ребятня. Это их праздник. Их волшебство и раздолье! Когда еще выпадет возможность наиграться в снежки и слепить снежную бабу! Снег – как счастье, искристое и тающее, но памятное надолго.

Но этот снежный день был особенным. Уже клонились под белыми шапками верхушки сосен в парках, уже с глухим треском ломались и падали один за другим кипарисы и туи, распространяя холодный смолистый дух, уже скамейки и машины наминали авангардные скульптуры, а снег все валил, и фонари, неизвестно для чего зажженные среди бела дня, казались дымно-призрачными кораблями.

С работы нас отпустили пораньше. Я вспомнила, что свекровь поручила мне купить продукты в бакалее и по пути домой зашла в магазин. В нем кипела жизнь, и покупатели дружно обсуждали снегопад. Быстро сделав покупки, я вышла.

Чуть поодаль от магазина стояла маленькая фигурка в черном пальто с порывевшим воротником. Паташон!

Стояла, видно, не один час, потому что снег полностью покрыл ее голубой с золотой нитью головной платок. В руках она держала что-то.

Я подошла к ней. Этим «что-то» оказалась нарисованная на обложке 96-листовой тетради картина. Зимний пейзаж с горящими фонарями. Обложка была обрешена очень аккуратно и служила картине одновременно и рамкой. Акварельные краски были очень свежими, недавно просохшими.

Я залюбовалась. Красота этого снежного, необычного для Баку дня была передана наивно и нежно. «Как звук флейты среди трубного звона», – подумалось мне.

– Она стоит два «мамедэмина»¹, – раздался тихий, но ясный голос.

«Две буханки хлеба», – мгновенно поняла я, и сердце мое сжалось.

– Мне очень понравилось, – решительно произнесла я. – В Баку снег бывает редко, я хочу оставить себе на память. Два «мамедэмина» – слишком мало за такой

¹ Мамедэмин – бытовавшее в народе название денежной купюры достоинством в одну тысячу манатов до денежной реформы 2006 года. 1 тысяча манатов равнялась нынешним 20 копейкам (буханка хлеба). Купюра называлась так потому, что на ней был изображен Мамед Эмин Расулзаде .

труд. Я дам «ширван».¹

Два удивленных карих колодца взглянули на меня.

– Вам правда понравилось? – голос прозвучал еще тише. – Спасибо.

– Конечно! – Я почти выдернула из ее ручек обложку. Она показалась мне ледяной. Паташон неспеша всунула ручки в карманы пальто. Потом добавила совсем тихо:

– Вы ведь, кажется, наша соседка? Не обидитесь, если я попрошу вас об одной вещи?

– Да, конечно! Надо купить что-нибудь?

– Нет. Мне так неловко, но, пожалуйста, если можно, пройдите к выходу метро на другой стороне улицы. Там стоит мой муж. Вы ведь его знаете, высокий такой. Это он нарисовал эту картину. У него в руках точно такая же. Дайте этот «ширван» ему и похвалите так же, как хвалили мне. Пожалуйста, если вам не трудно. Только не говорите, что видели меня. А эту оставьте себе просто так. Пожалуйста. Но говорите громче, он плохо слышит.

Я побежала к противоположному выходу метро. Высокая фигура Пата в сером пальто стояла неподвижно и почти сливалась с молочной мглистостью этого дня. Руки без перчаток сжимали такую же картину на тетрадной обложке.

– Один «мамедэмин», – прошелестел бесцветный, даже какой-то серый голос. Он не узнал меня.

Я повторила те же слова похвалы и предложила за картину два «ширвана»!

– Нет, это очень много, – слабо, но быстро заговорил Пат. – Одного достаточно. Спасибо вам. Я вас прошу, пожалуйста, там, у другого выхода метро, стоит пожилая женщина в черном пальто и голубом платке. У нее в руках точно такая же картина. Отдайте, пожалуйста, деньги ей и скажите те же слова, что вы мне говорили. Ей будет приятно. Пожалуйста.

Кивнув, я взяла картину и перебежала улицу. Паташон стояла на прежнем месте и издали походила на маленького зверька, припорошенного снегом. Насилу удалось запихать ей в карман два «ширвана». Больше у меня не было, да и взяли бы они?..

– Мне надо еще в аптеку, – пробормотала я. – Всего вам доброго.

Ни в какую аптеку мне, конечно, не надо было. Но за стеклянной дверью ее я увидела, как дорогу неспеша перешел высокий человек в сером. Он подошел к небольшой фигурке в черном пальто с порыжевшем воротником и голубым платком на голове. Она проворно взяла его под руку, они зашагали к дому и скоро почти растворились в снежном дне. Только платок все еще выделялся на белом фоне крохотным голубым пятном, но вскоре и оно исчезло за поворотом.

*Подари мне платок,
Голубой лоскуток,
По краям голубым
Золотой завиток.*

К середине следующего дня распогодилось, снег превратился в грязную кашу, и наша родная серая бакинская зима вступила в свои права. Картинки я положила в

¹ Ширван – бытовавшее в народе название денежной купюры, достоинством в 10 тысяч манат до денежной реформы 2006 года. 1 ширван равнялся 10 мамедэминам. В то время за ширван можно было купить килограмм мяса. Купюра называлась так потому, что на ней был изображен архитектурный исторический комплекс – Дворец Ширваншахов.

папку и вскоре забыла о них. Жизнь покатила стремительная, обыденная, рутинная, в тесной роевой связи со всеми проблемами и радостями родственников и знакомых, и за всеми этими бесконечными днями рождений, обручениями, свадьбами, родинами-крестинами, болезнями, похоронами, Пат и Паташон совсем отступили в памяти. Не до них было, да и не встречала я их после того дня.

Увидела я их только в августе следующего года на балконе. Виноградная лоза заплела угол нашей лоджии, и я могла беспрепятственно наблюдать за ними. Они собирались завтракать: на откидном столике были разложены хлеб, масло, сыр и инжирный джем в пиале.

Пат, по-прежнему серо-стальной, с зачесанными назад пепельно-седыми волосами, четкими отточенными движениями нарезал хлеб и принялся намазывать его маслом. Сделав бутерброд, он положил его на тарелку жены и стал сооружать себе такой же. В это время появилась она с небольшим чайником в руках. Налив чаю, она протянула чашку ему и придвинула розетку с джемом. Потом налила себе и села напротив. В неизменном сером платье-халате и голубом с золотой нитью платке на плечах. По утрам в конце августа уже свежо. После завтрака они так же молча сели рядом и стали смотреть вниз на улицу. Набежал легкий ветер, она поправила ему воротник пиджака и осторожно положила руку на спину. Одновременно то же самое почти бессознательно, повинувшись одной только давней привычке или... любви, сделал он: положил руку поверх ее платка, приобняв.

*Не в сундук положу,
На груди завяжу,
И что ты подарил,
Никому не скажу.*

«Чистые Пат и Паташон!» – подумала я словами свекрови и усмехнулась.

«Филемон и Бавкида»¹, – отозвалось во мне тихим голосом флейты среди трубного звона. Символ супружеской любви и верности. Одно сердце на двоих. Неужели наяву бывает так?! Тихое счастье, так вот ты, оказывается, какое?!»

Ветер стал усиливаться, они ушли с балкона. Зашла в комнату и я. Становилось зябко и как-то тревожно. Мгновенно и отчетливо промелькнула мысль, что я больше их никогда не увижу, потому что такие моменты не повторяются, и они должны быть неповторимы, что невольная сопричастность чужому трепетному счастью сродни чему-то запретному. Будто сорвала волшебный цветочек аленький и за это непременно придется платить душой, нервами, страстями, слезами. Даже если сорвала нечаянно.

Так и случилось. Следующий год разметал нас жестоко, болезненно. Затерялись реликвии. И «Зимний пейзаж с фонарями» упал в небытие. Быстра Гераклитова река – не войдешь в нее дважды. Но, видно, прошита жизнь моя судьбой наособь и все равно дышу и пишу поперек линованной бумаги. И если спросили бы: «А сейчас подсмотрела, наблюдала бы за чужим счастьем – трепетным, тихим?». И, сжав сердце, я бы сказала: «Наверно! Ведь только так можно идти по единственной СВОЕЙ, любимой до боли, невыразимо прекрасной дороге, называемой творчеством. Ведь я сочинитель, «человек, называющий все по имени, отнимающий аромат у живого цветка»!

¹ Филемон и Бавкида – герои древнегреческого мифа, олицетворение супружеской любви и верности.

Кахраба́

Тьма упала мгновенно: огромная южная ночь накрыла собой землю. Низкие звезды горели ярко, и голубой холодный огонь их был приятен глазу. В беседке сидело трое, и эти трое наслаждались покоем.

В глубине дачного участка догорал мангал, звенели цикады, слабо попыхивал самовар. Тянуло запахом костра, печеного мяса, обуглившихся сосновых шишек и сухих трав. Если бы не перила беседки, смутно белевшие в темноте, можно было подумать, что три путника развели костер в степи и слушают голоса ночи и вечности. Была одна из тех тихих минут, когда душу обнимает вселенский покой, и чувствуешь себя песчинкой в ладонях великана. Да они и были рядом, эти великаны – вздыхающее море и небо над ним. И покойно было быть песчинкой в исполинских ладонях, и не хотелось расти...

Трое наслаждавшихся покоем – хозяйка дачи, я и моя подруга – лениво, как семечки, перещелкали все новости и сплетни. Когда косточки общих знакомых женщин были перемыты и выполосканы до хрустального блеска, перешли на мужчин. Но так как «бабьи-то суды про мужчин всегда худы», то, обреченно взмахнув рукой, мол, что с них взять – такое племя! – перешли на проблемы детей, потом на кино, немного пожевали политику и замолчали. Это было разумно. Нигде так не ощущается сдержанное и пряное дыхание жизни и так не замедлен ее бег, как на старых бакинских дачах.

Было слышно, как потрескивали семена цветов в своих высохших коробочках-домиках и с мелодичным звоном рассыпались на каменные дорожки; как в траву глухо шлепались созревшие персики и виноградины; как старый пес Нерон вздыхал и отчего-то дрожал во сне, как изредка всплескивали золотые рыбки в фонтане. Дети давно спали на раскладушках под навесом, мужья остались в городе. У нас же в запасае было два дня блаженного ничегонеделания, когда можно было обедать бутербродами с сыром, яичницей, огурцами-помидорами и фруктами. Еще два дня, а потом на дачу возвратится муж хозяйки, мы уедем домой и снова впряжемся в телегу под названием «кухня». Но это будет через два дня, а пока... Теплая тягучая мгла обволакивала, нежила и ласкала.

– Фи-у-у-у! – раздалось внезапно. Тишина была взрезана этим свистом. Мы вздрогнули.

– Фи-ю-ю-ю! – послышалось вновь, уже более мягче, но от этого второго свиста мы с подругой поежились.

– Не бойтесь! – сказала хозяйка, добродушная толстушка с маленькими пухлыми руками и ногами. – Это Кахраба, наверно, своих собак подзывает. Не волнуйтесь.

– Что за Кахраба? – спросили мы почти в унисон.

– Не что, а кто, – тихо засмеялась хозяйка и отщипнула ягоду от виноградной грозди. – Так, здешняя достопримечательность. Блаженная. Но безвредная. Ходит просто с собаками, у нее пять или шесть дворняжек, особенно любит по ночам в море купаться. Видно, и сейчас пошла. Ей лет шестьдесят, а может, и семьдесят, но попробуй угнаться за ней! Мне вот сорок, а по сравнению с ней – свиноматка! Пока от кухни до бассейна дойду – потом обливаюсь, а она скачет в своем халате и серьгах, как молодая коза, и собаки за ней свитой. Местные ее не трогают – такую обидеть грех. Удачи в делах и здоровья не будет.

– А что, она с рождения больная? – заинтересовались мы. Дрема соскользнула

с нас, разговор потек по новому руслу.

– Нет, – отмахнулась хозяйка. – Вначале все было нормально. А что случилось потом – не знаю. Вроде как муж сильно издевался над нею, она убегала от него, он возвращал, бил постоянно... Местные рассказывают, что была очень красивой в молодости.

А Кахраба... если увидите, сами поймете. Ходит, вся обвешанная янтарем. У нее глаза светло-карие, почти янтарные, вот и назвали Кахраба – янтарь.

– Фи-ю-ю-ю! – слышалось где-то совсем рядом.

– Р-ав-ав-ав, – раздалось в ответ. И тотчас Нерон сорвался с места и залился бешеным лаем. Собачья перебранка у закрытых ворот продолжалась бы долго, если бы низкий, почти мужской голос на чистейшем русском языке не произнес, чуть гнуся:

– Фи-у-у-у! Осади назад!

Лай снаружи смолк, и только Нерон метался вдоль ворот и взвизгивал нервно.

– Неронка, марш в будку! – скомандовала хозяйка, а потом, повернувшись к нам, добавила тихо: – Хотите познакомиться? Она безопасная, но любопытный экземпляр. Русскоязычная. Таких грамотных я не видела, честно! Она и судьбу предсказывает. Интересно же! Ради смеха!

Все равно было нечего делать и спать не хотелось. Поколебавшись, мы кивнули.

– Заходи, Кахраба, только собак привяжи за воротами, – отперла засов хозяйка. Тон, которым эти слова были произнесены, и достоинство, с которым женщина переступила порог дачи, говорили о том, что она здесь не впервые и такие приглашения не внове для нее.

Это была высокая, худощавая и смуглая женщина лет семидесяти. Стройность ее была удивительна, обычно женщины здесь полные, ходят вперевалочку, опустив глаза долу. И берегутся от загара. Белая кожа ценится выше!

Облачена она была в какой-то странный не то халат, не то хламиду, впрочем, выглядевшую на ней довольно живописно, и истрепанные бархатные тапочки на небольшом каблуке. На лице, испещренном глубокими морщинами, – не лицо, а географическая карта! – сверкали узкие, чайного цвета глаза. «В самом деле – янтарные», – подумалось мне, так живо и ярко горели они из притемья глазниц. Жесткие вьющиеся волосы были забраны ободком с желтыми камешками, в ушах висели серебряные серьги с янтарем. Сухую шею окружало ожерелье из янтарных цилиндров. Руки и запястья тоже были украшены янтарем.

– Старуха Изергиль какая-то, – еле слышно прошептала мне на ухо подруга. – Как ее только не ограбили еще?..

– Боятся, наверно, – так же тихо ответила я. – Здесь народ набожный, блаженных не тронут.

– Вот, Кахраба, я тебе приготовила, – нарочито громко сказала хозяйка, проходя мимо нас. Через минуту она вышла из кухни, неся два узелка.

– Здесь персики, кусок пирога, чай и сахар. А тут косточки для твоих собак.

Кахраба с достоинством и даже как-то равнодушно приняла дары и, не дожидаясь приглашения, села на низкую скамеечку около бассейна. Вся ее фигура, скульптурная поза, складки халата-хламиды, опущенная рука с перстнями и браслетами – напоминала статую пифии.

Она съела персик, бросила косточку в бассейн, вслушалась в короткий звук,

потом глядела неподвижно на воду. От этого становилось жутко, мы с подружкой цепенели, и только наша хозяйка привычно сновала туда-сюда, вытирала тряпкой стол и удерживала нас в реальности.

– Кахраба, – негромко позвала она. – Это мои подружки. Они рады тебе. – Она незаметно вложила нам в руки по персику и знаком велела подойти к старухе.

Мы повиновались, пребывая в каком-то странном, жутком и завоораживающем оцепенении. Положили персики ей на колени, чуть поклонившись при этом – она не шевельнулась и продолжала сверлить глазами воду. Так прошло минут десять или пятнадцать. Время будто застыло.

Внезапно она оторвала взгляд от бассейна и остановила его на подруге. У меня от природы богатое воображение, но сейчас реальность не нуждалась в нем. Картина складывалась мистическая: темная дача, зловещие силуэты кипарисов, белые камни бассейна, черные кустарники и застывшая фигура над неподвижной водой. В довершение – ни звука, ни дуновения, ни лая, ни плеска. Даже цикады, как по команде, смолкли. Мы замерли.

Медленно, не сводя глаз с подруги, остановив взгляд где-то на уровне подлючичной впадинки, Кахраба пробасила-прогнусавила:

*А там течет, там льется за туманом
Река всех рек, лазурная Ковсебрь.*

Мы ошеломленно переглянулись, подруга охнула и, не в силах вынести больше эту сцену, убежала в дом. Хозяйка застыла около кухни. Настал мой черед, я стояла, как вкопанная.

Кахраба остановила взгляд на мне. Глаза ее казались слепыми, хотя сверкали по-прежнему.

Не знаю, какая сила заставила меня сузить глаза и так же впиться в нее взглядом. Две минуты две пары глаз – янтарных и песочных, одинаково суженных, сверлили друг друга. Затем она усмехнулась, поднялась, взмахнув полами своей хламиды, сорвала кипарисовую веточку и, подойдя ко мне, легонько ударила по плечу.

Так же легко, как птица, скользя по дорожкам, Кахраба, не оборачиваясь, прошла к воротам, знаком приказала хозяйке открыть их. Послышалось «Фи-ю-ю-ю», залаяли собаки, встрепенулся и подал голос Нерон, проснулся младший сын подруги, и маленькая дача, словно по команде, наполнилась звуками.

Подруга молчала. Лицо ее было бледным. Радужная наша хозяйка и сама была не рада своей затее. То, что она устроила для потехи, обернулось чем-то тревожным, почти зловещим.

– Не берите в голову, – тараторила она. – Ну, блаженная, что с нее взять? Сказала и сказала. Чушь какую-то, стихи, что ли?

– А к чему это она? – вымолвила наконец подруга и посмотрела на меня. – Что это вообще за стихи? Сама выдумала?

– Нет, – покачала головой я. – Это Бунин. Странно, конечно. Здесь, в селении, говорит на чистейшем русском, цитирует Бунина. Она училась чему-то? Работала когда-нибудь? Кем?

– Не знаю, – пожалала плечами хозяйка. – Я здесь из дома редко выхожу, муж все связи с внешним миром осуществляет. Если хотите, я спрошу его подробно. Но вы, главное, не обращайтесь внимания, это же так, для смеха, как шутка. Ну что вы, ей-Богу, так серьезно?.

Но почему-то нам расхотелось оставаться здесь еще на два дня. К счастью, утром позвонил муж подруги, спросил у нее что-то, она обыграла это как повод срочно уехать, завела машину, я увязалась за ней и через полчаса, перецеловавшись с немного расстроенной и недоумевающей хозяйкой, мы уже катили по пыльной дороге селения.

Полпути прошло почти в молчании. Двое сыновей подруги, пяти и восьми лет о чем-то тихо болтали на заднем сиденье. Они были раздосадованы поспешным отъездом, но быстро утешились. Мать сказала им, что они приедут потом еще.

Мы угрюмо молчали. Подруга прибавила скорость, мы выехали на городскую трассу, и только тогда она спросила:

– Ты что-нибудь поняла? Жуть какая!

– Нет! – искренне призналась я. – Но запоминающаяся встреча, ничего не скажешь. В жизни ни к каким гадалкам не ходила, а тут будто бес попутал.

– И не говори! – кивнула подруга. – Бр-р-р-р! Как только она (имелась в виду хозяйка) ее не боится?

– Нет, – досадливо отмахнулась я. – Она безопасная, это видно. Только вот что означают ее слова? И обрати внимание, как хорошо она знает русский язык. Действительно, загадочный экземпляр.

– Да ну ее! – передернула плечами подруга. – Не хочу вспоминать. – Но по лицу ее, по сведенным в ниточку губам и складке на лбу, по тому, как она вцепилась в руль машины, я поняла, что ночное происшествие она долго не забудет.

Мы приехали в город и разбежались по домам. На даче у радушной хозяйки мне больше не довелось быть. Подруга тоже избегала разговоров о нашем тогдашнем визите.

Через два года в семье моей подруги случилось пополнение. Родилась долгожданная дочка, о которой подруга после двух сыновей и нескольких неудач уже и не смела мечтать. Девочка родилась на редкость крупная и красивая. С темными кудрявыми волосами и – всем на удивление! – ярко-голубыми глазами. Ни у кого из родителей и близкой родни таких глаз не было. Потом кто-то вспомнил, что троюродная бездетная тетка мужа была голубоглазой, и девочку назвали в ее честь – Ковсёрь.

Я напомнила о предсказании Кахрабы, когда пришла поздравить подругу. Но по лицу ее пробежала тень, и она перевела разговор на другое. Давило ли воспоминание о перенесенном страхе, боялась ли она и теперь – мне трудно сказать. Более мы к тому разговору не возвращались.

Что касается меня, то я до сих пор не знаю, что означал легкий удар кипарисовой веточкой по моему плечу. Благословение, приобщение или проклятие? Неизвестно...

Прошло уже более десяти лет, и вероятно, я так никогда не разгадаю пророчества Кахрабы. Но иногда на рассвете сон резко и безвозвратно слетает с меня, и невыразимо ясная картина встает перед глазами...

...Ночь, тишина, кипарисы, две темные фигуры, разделенные бассейном. Две пары глаз – янтарных и песочных, одинаково суженных, яростно вонзились друг в друга. Словно схватка тигра и льва, и самое трудное в этой схватке – еще впереди.

Всегда впереди...

ЛАДА СМИРНОВА

МОЛИТВА О ЛЮБВИ

Молитва

Смирение подай, Господь, и веру
Встречать Тобой ниспосланное смело.
Чтоб доказать Любовь смогла я делом,
Пренебрегая бранным этим телом.

Терпение подай сносить невзгоды
И пронести любовь к Тебе сквозь годы,
Чтоб в Судный час ты не назвал бесплодной
Смоковницей в земле той плодородной.

И научи любить, не различая,
Кто добрый, а кто злой, вторых прощая.
Позволь вкусить мне безмятежность рая –
Ведь я всего лишь женщина земная...

Он и Она

Она давно его любила
И за романами следила,
Надеясь: он поймет однажды,
Что в самом деле в жизни важно.

Когда же исчезал надолго,
Вселялась черная тревога.
Украдкой слезы вытирала,
Молитвой жизнь его латала...

Всегда поодаль, чуть в сторонке,
Благословляла в путь иконкой.
А он не ведал ни о чем,
Не видел ту, что за плечом...

Что ж... Если любящих не видим,
Нам кажется, весь мир обыден.
Не замечаем, как он светел,
Не верим ни во что на свете!..

Кувшин

Когда меня забудешь ты,
И канут в прошлое мечты –
Я обрету покой души,
И переполненный кувшин
Эмоций разолью в стихи,
Простив забытые грехи.

Вновь честен ты, красив и смел...
Отравленных не будет стрел.
Не будет в памяти обид,
И то, что так сейчас болит,
Сумеет снова биться в такт...
Проходит всё... И это факт.

Жемчужина

*«...Подобно Царство Небесное тому купцу,
ищущему хороших жемчужин,
который, нашед одну дорогую жемчужину,
пошел и продал все, что имел, и купил ее...»*

Евангелие от Матфея

Ты – та жемчужина купца,
Что найдена... Не потерять бы...
И дело ведь совсем не в свадьбе –
С другим не разделю венца
Лишь для «счастливого» конца.

Всё разменяю, всё отдам
Взамен любви одной на свете!
Но крик унёс бакинский ветер...
Да и не веришь ты словам,
Раскинутым, как в море сети...

Но краток срок очарованья –
Зачахнет жемчуг без вниманья,
Без теплоты любимых рук...
В самоотдаче, милый друг,
Разгадка тайны мирозданья!..

Без тебя

**А мне тебя так не хватает,
Как солнца долгою зимой –
Ведь знаешь, что снега растают,
Но ходишь от тоски хмельной.**

**А мне тебя так не хватает,
Как родника в палящий зной,
Как жоака у волчьей стаи,
Как возвращения домой.**

**А мне тебя так не хватает,
Как соли к пище на пиру,
Когда без смысла остывают
Все яства лучшие в жиру...**

**Ах, как тебя мне не хватает...
Но я об этом промолчу,
Ведь о любви не умоляют...
Мне эта ношу – по плечу.**

Лепестки

**От тебя остались
Розы лепестки...
Мне не разобраться
В тонкостях тоски.**

**Словно окунули
В прорубь с головой...
Сколько же в нас дури
Было, милый мой!..**

**Сколько расставаний,
Столько же и встреч...
Подскажи, что с нами,
Счастье как сберечь?..**

**Ты за всё в ответе.
Ты – мужчина мой...
Кто же нас приветит,
Если врозь с тобой?..**

Шамаханская царица

Газелью, нежной и прекрасной;
Коварной, ласково-опасной,
Войду, браслетами звеня...
Вы не узнаете меня,
Пока в мой плен не попадете
И петушком не запоете!..

Струится шелк, грудь обнимая,
Мужчин намеками дразня...
В глазах, исполненных огня –
Их приговор...
Ведь я не зря
Кажусь всем гурией из рая...
Но жалит гурия-змея!..

Ну и ладно...

Всё, что сказано – избито.
Всё, что велено – испито.
Не хватает колорита...
Ну и ладно... Карта бита....

Не смешно, хотя нелепо.
Не грешно, хотя запретно.
Только не хватает света...
Ну и ладно...
Было – лето...

САЛИДА ШАРИФОВА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА ЧИНГИЗА АБДУЛЛАЕВА: ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРИИ ДЕТЕКТИВА

Чингиз Абдуллаев – одно из знаковых литературных имен на постсоветском пространстве. Он воспринимается как азербайджанский писатель в Азербайджане, и как российский писатель в России. Чингиз Абдуллаев востребован читателем: его книги издаются и продаются многочисленными тиражами. Не каждый современный автор может похвастаться тем, что его книги занимают отдельные стеллажи в книжных магазинах различных стран. Вместе с тем, в Азербайджане невелико число исследований, посвященных творчеству Чингиза Абдуллаева. Возможно, это связано с тем, что детективной литературе в азербайджанском литературоведении в целом посвящено мало работ, а возможно, и с тем, что основная масса его произведений создана на русском языке, и лишь отдельные детективы переведены на азербайджанский. Ч. Абдуллаев – мастер детективной литературы. Его детективы отличаются многообразием сюжетных композиций, запоминающимися образами (как детектива, так и преступников), детальным отображением методов совершения преступления и расследования, детализированной художественной фиксацией доказательств совершения преступлений, многообразием конструирования художественного пространства, а также мастерским поддержанием загадки и интриги на всем протяжении повествования.

Построение сюжета

Сюжетная линия детективов Ч.Абдуллаева обычно характеризуется двойственностью, которая в целом присуща данному типу литературных произведений. С одной стороны, четко прослеживается сюжет преступления, а с другой – сюжет расследования. Вместе с тем, в различных произведениях соотношение этих сюжетов различно. Детективы Ч.Абдуллаева можно условно разделить на три группы: криминальный детектив, политический детектив и шпионский детектив. Порой четко отнести его произведение к тому или иному типу детектива трудно. Имеет место сочетание в сюжете и фабуле одного произведения признаков всех типов детектива. Например, черты криминального и шпионского детектива характерны для романов «Кредо негодяев», «Альтернатива для дураков», «Равновесие страха», черты криминального и политического детективов переплетены в романах «Бремя идолов», «Душа сутенера», «Закон негодяев», «Идеальная мишень», «Исповедь Сатурна», «Право на легенду», «Объект власти», черты политического и шпионского детективов смешались в романах «Балканский синдром», «Мрак под солнцем», «Три цвета крови», «Суд неправых». Кроме того, Ч. Абдуллаев часто обращается к одному и тому же образу в различных типах детектива. В этом плане характерен образ Дронго, главного героя в политическом детективе «Атрибут власти», криминальных детективах «Отрицание Оккама» и «Ответный удар», шпионском детективе «Камни последней стены».

Для детективов Ч. Абдуллаева не характерен сюжет, выстроенный вокруг одного преступления, что присуще классическому детективу. Сюжет у Ч. Абдуллаева построен часто вокруг нескольких взаимосвязанных преступлений (романы «Власть маски», «Затянувшееся послесловие», «Допустимая погрешность», «Время нашего страха», «Долина откровений»,

«Лучше быть святым», «Мечта дилетантов», «На стороне бога» и т.д.). В отдельных детективах автора сюжет выстроен не вокруг конкретного преступления, а вокруг преступной деятельности организованной преступной группы (романы «Ответный удар», «И возьми мою боль») или же деятельности спецслужб (романы «Зло в имени твоём, женщина», «Измена в имени твоём, женщина» и т.д.), в особенности наркокартелей (романы «Голубые ангелы», «Твой смертный грех», «Повествование неудачника», «Линия аллигатора», «Стандарт возмездия», «Охота на человека» и т.д.).

Для отдельных детективов Ч. Абдуллаева характерно обогащение сюжета преследованием самого детектива (сыщика): не только детектив (сыщик) преследует преступника в рамках расследования, но и последний преследует детектива (сыщика). Между сюжетом преступления и сюжетом расследования появляется новая сюжетная линия. Например, в романе «Суд неправых» Дронго не только ведет расследование по поиску «крота» внутри могущественной политической организации, но и сам становится объектом преследования со стороны руководства этой организации, так как к нему в руки случайно попадает информация о ее незаконной деятельности. Схожая структура сюжета у романа «Доблесть великанов». В романе «Отравитель» преступник, отравивший арабского олигарха Вилята Ашрафи, планирует также отравить и детектива (сыщика), в качестве которого выступает Дронго. В детективе «Капкан для Дронго, или игры профессионалов» Дронго, получивший задание осуществить проверку агентурной резидентуры в Индии и Пакистане, сам становится объектом слежки и разработки со стороны «крота». Перу Ч. Абдуллаева принадлежат и детективы, в которых сюжет построен на обвинении самого детектива (сыщика) в совершении преступления. Например, в романе «Разорванная связь» именно Дронго является главным подозреваемым в расследовании убийства мужчины в отеле. Схожее сюжетное решение используется в детективе «Параллельное существование». На вилле в Сардинии погибают Стивен Харт и Автандил Нарсия, алиби есть у всех присутствующих на вилле, кроме самого Дронго.

Следует также подчеркнуть, что для детективов Ч. Абдуллаева, написанных в 90-ых годах, характерно включение в сюжет и фабулу обстоятельств, которые сближают произведения с боевиками. Детектив (сыщик) не только разгадывает совершенное или планируемое преступление, но и активно участвует в силовом противостоянии (драки, перестрелки и т.д.). Например, в романе «Три цвета крови» Дронго предотвращает покушение сразу на трех президентов (Азербайджан, Грузия и Россия) не только решая головоломки, но и непосредственно принимая участие в столкновениях с преступниками. В романе «Охота на человека» Дронго не просто ведет расследование убийства и утечки информации в Интерполе, но и активно участвует в борьбе с «Легионом дьявола» – организованной преступной группировки, которая занимается убийством политиков, похищением людей и наркоторговлей.

Особенностью отдельных серий детективов Ч. Абдуллаева является продолжение сюжетной линии в последующих произведениях. В качестве примера можно привести серию романов «Удар бумерангом», «Синдром жертвы» и «Адаптация совести», или серию романов «Закон негодяев», «Кредо негодяев», «Совість негодяев». При этом не все серии Ч. Абдуллаева характеризуются преемственностью сюжета. Объединение в одну серию осуществляется или на основе главного героя (например, Дронго), или на основе идентичности исторических обстоятельств (например, романы «Распад. Обреченная весна», «Распад. Лето двух президентов», «Распад. Разорванный август», «Распад. Похороны империи», «Распад. После заката»).

Хотелось бы обратить внимание на сюжет романа «Смерть под аплодисменты». Этот роман отличается интертекстуальной отсылкой в сюжете к трагедии У. Шекспира «Отелло, венецианский мавр». Убийство Натана Зайделя, играющего роль Короля в постановке в театре на Остоженке, происходит под шекспировскую фразу: «Ступай, отравленная сталь, по назначенью...».

Большинство произведений Ч. Абдуллаева построено на неоспоримой правоте государства, в частности, спецслужб. Писатель выступает неким рупором, пропагандирующим методы ведения разведывательной и контрразведывательной деятельности. Лишь в отдельных произведениях неоспоримая правота спецслужб ставится под сомнение. Одним из таких произведений является повесть «Сила инерции». Главный герой повести Монах получает задание по устранению политического деятеля. При подготовке к операции контакты Монаха с третьими лицами запрещены под угрозой устранения этих лиц. Однако в этот период к Монаху приезжает его бывшая возлюбленная. Сюжетная линия повести выстроена вокруг тщетной попытки Монаха спасти женщину.

Образы детектива (сыщика) и преступника

В связи с тем, что Ч. Абдуллаев обращается к различным типам детектива, то и образ детектива (сыщика) зачастую трансформируется в образ сотрудника спецслужб (в шпионском детективе) или в образ политика (в политическом детективе). Классическим примером главного героя-агента можно считать образ разведчика-нелегала Юджина, созданный в романах «Обретение ада» и «Пройти чистилище».

Примечательно, что образ детектива (сыщика) в творчестве Ч. Абдуллаева несколько статичен. Так, не наблюдается развития психологического и эмоционального мира детектива (сыщика) на протяжении раскрытия сюжетной линии. Обратимся к образу Дронго: нет изменения его характера и мировоззрения как в рамках одного произведения, так и при анализе всей серии произведений, в которых Дронго является героем. Примечательно, что такой подход к Дронго был заложен автором еще в начале своего литературного пути. В романе «Голубые ангелы», первой книге Ч. Абдуллаева, эксперт-аналитик комитета ООН Дронго – один из специальных агентов, у которых обезличены имена. Схожий подход используется и при конструировании большинства образов сотрудников специальных служб, являющихся героями нескольких произведений (например, Марина Чернышова, Тимур Караев и т.д.). Возможно, что этот подход обусловлен обращением автора к определенным архивным материалам спецслужб. И автор намеренно обезличивает образ, создавая некий поверхностный оттиск на основе характеристик оперуполномоченных. Вместе с тем, при создании образа агента глубокого прикрытия Ч. Абдуллаев раскрывает внутренний эмоционально-психологический мир главного героя с фиксацией изменений. В качестве примера можно привести образ Кемаля Аслана, главного героя романов «Пройти чистилище» и «Обретение ада». В отдельных случаях можно столкнуться с более рельефной прорисовкой второстепенного образа, а не главного героя. Например, в романе «Закат в Лиссабоне» ликвидатор «Профессор» отображен более детализировано и эмоционально, чем главный герой Дронго.

Примечательно, что Ч. Абдуллаев концентрируется на раскрытии процесса трансформации образа преступника. Наглядным примером является образ Рината Шарипова в романе «Ошибка олигарха». Получив значительное наследство от дяди, Р. Шарипов сталкивается с новыми угрозами для себя и своего окружения. Он меняется, постепенно становясь преступником. Дальнейшая трансформация образа Рината Шарипова происходит в романах «Наследник олигарха» и «Завещание олигарха». Если в «Наследнике олигарха» автор отображает то, как меняется главный герой под влиянием денег, то сюжетная линия романа «Завещание олигарха» построена на «воскрешении» дяди, который требует от Р. Шарипова возвращения своего имущества, прячась за новым лицом (результат пластической операции) и новым именем.

Трансформация в преступника мастерски раскрыта Ч. Абдуллаевым в романе «Застенчивый мотив крови». Профессор Максуд Намазов из законопослушного и скромного научного сотрудника в короткое время преобразуется в хладнокровного убийцу, следуя инстинктам.

Внутренний мир отрицательного героя раскрывается во всей глубине и в романе «Апология здравого смысла». Ч. Абдуллаев раскрывает эмоциональную и психологическую картину маньяка-наильника. При этом Ч. Абдуллаев сюжетную линию преступления выводит в роман, который пишет отрицательный герой.

Художественное отображение метода совершения преступления и расследования, а также страданий жертвы

В политических детективах методом совершения преступления могут выступать как чисто криминальные, так и политические действия. Если в политическом детективе «Балканский синдром» преступление выражается в повешении премьер-министра одной из балканских стран Предрага Баштича, то в романе «Заговор в начале эры» преступление совершается в форме заговора под предводительством претора Катилины, консулов Юлия Цезаря и Марка Красса. Заговор лежит и в основе фабулы романа «Симфония тьмы». Повторяющиеся покушения на политиков Израиля наводят следственную группу на мысль о причастности арабских террористов, тогда как Дронго смог приблизиться к истине – за покушениями стоит заговор международного масштаба, а все нити ведут к масонской организации. Заговор составляет основу сюжета и романа «Мудрость палача». Речь идет о группе мятежных офицеров, захвативших командный пункт управления межконтинентальными ракетами и планирующих применить ядерное оружие. Очень часто фабула заговора сопряжена у Ч. Абдуллаева с покушениями на первых лиц. В политическом детективе «Рандеву с Валтасаром» главному герою предстоит среди участников «литературного экспресса», следующего из Лиссабона в Москву, найти и обезвредить преступника, которой планирует убить президента России. В романе «День гнева» покушение планируется не на главу государства, а на министра финансов, который должен представить проект бюджета в Государственную Думу, который противоречит интересам группы олигархов.

Как политический детектив интерес представляет двухтомник «Манипулятор». В романе «Манипулятор. Три осенних дня», которых входит в двухтомник, переплелись криминальные и политические преступления. Так, герой романа Святослав Петровский сталкивается с чередой сомнительных обстоятельств, которые сопровождают выборы в Государственную думу РФ и лиц, выставивших свои кандидатуры. А в романе «Манипулятор. Плутократы» раскрывается политическая составляющая крупных рейдерских предприятий и компаний.

В отдельных произведениях Ч. Абдуллаева именно положительный герой совершает преступление. Например, в романе «Восточный ветер» бывший полковник спецслужб Тимур Караев получает задание – ликвидировать предателя-перебежчика. Аналогичное задание Тимур Караев получает и в романе «Западный зной». Дронго получает похожее задание в романе «Правило профессионалов», когда его посылают в Багдад убить бывшего агента КГБ Волка.

Ч. Абдуллаев нередко обращается к терроризму и террористическим актам. В качестве примера можно привести роман «День Луны», сюжетная линия которого построена на противостоянии спецслужб и террористов. Методом совершения преступления в данном романе является захват смертоносного груза для последующего совершения террористического акта. Кража оружия массового уничтожения террористами заложена в основу сюжета и романа «Символы распада». Проблема попадания оружия массового уничтожения в руки террористов поднимается и в романе «Алтарь победы». В этом детективе сотрудник спецслужб Физули Гусейнов должен предотвратить возможность использования афганскими и пакистанскими радикалами-террористами двух «грязных» ядерных бомб. Терроризм положен в основу сюжетной линии и такого романа, как ««Гран-при» для убийцы». Главный герой этого романа – террорист Ахмед Мурсал, который планирует совершить крупномас-

штабный теракт. В романе «Закат в Лиссабоне» детектив (сыщик) предотвращает террористический акт, который планировалось совершить во время европейского футбольного чемпионата. Подготовка террористического акта на футбольном стадионе составляет основу сюжета недавнего романа автора «Допустимый ущерб». Завязка романа основана на предупреждении израильской разведкой своих российских коллег о возможном террористическом акте на чемпионате мира по футболу 2018 года, который будет проходить в Москве.

Террористическая проблематика характерна и для романа «Агент из Кандагара». В этом шпионском детективе фабула построена вокруг внедрения агентов ЦРУ в окружение Аль-Каиды и непосредственно Усама бен Ладена. В романе «Традиции демонов» фабула построена вокруг охоты израильской разведки на террориста Аль Рашиди, а в романе «Одноразовое использование» – охоты за тем же террористом российской разведки. При этом как в «Традиции демонов», так и в «Одноразовом использовании» главным героем выступает один и тот же художественный образ – Фархад Сеидов. В романе «Атрибут власти» террористами разрабатывается план покушения на президента.

Одним из любимых художественных приемов конструирования преступления у Чингиза Абдуллаева является убийство по ошибке другого человека. Например, в романе «Фестиваль для южного города» убийцы убивают не свою цель – иранского режиссера Хусейна Мовсани, а совершенно иного человека. Этот прием неоднократно обыгрывается Ч. Абдуллаевым в различных детективах.

С самого возникновения преступления его расследование обычно становится существенной составной частью повествования, составляя основу сюжета. Творчество Ч. Абдуллаева в этом смысле не исключение. Вместе с тем, особое внимание хотелось бы обратить на роман «Последний синклит». Особенностью сюжета расследования в этом детективе является сопоставление и сравнение методов расследования, применяемого сыщиками из различных стран.

В большинстве своих детективов Ч. Абдуллаев уклоняется от детального описания страданий жертвы. Вместе с тем, в отдельных романах подобное описание присутствует. Так, в романе «Апология здравого смысла» детальное описание совершения преступлений, со всеми античеловеческими элементами, отображаются в романе, которое пишет маньяк-убийца. В романе «Зеркало вампиров» главный герой Дронго сталкивается с настоящим адом – пытки, беспощадные схватки, предательство и смерть чередуются друг с другом.

Художественная фиксация доказательств совершения преступлений

Важнейшим элементом сюжета детектива является доказательство, которое детально описывается в произведении. Для творчества Ч. Абдуллаева также характерна эта черта. Например, в романе «Альтернатива для грешников» используется случайная находка, которая и позволяет полковнику раскрыть преступление, а затем и задержать банду преступников. В романе «Этюд для Фрейда» в качестве такого доказательства-загадки выступает красный плащ – такой плащ был на женщине-убийце, и такой же носит жена покойного. В романе «Забывтый сон» раскрытие убийства Арманда Краулина через 11 лет после его совершения становится возможным лишь благодаря маленькой вещице, которая сохранилась у супруги покойного. В романе «Тайна венской ночи» именно несущественная деталь (фразы, услышанные случайно Дронго в ресторане) становится основой для расследования убийства Галимова в отеле «Мариотт».

Хотелось бы обратить внимание на романы «Возвращение грехов» и «Выстрел на рождество». Особенностью этих романов является детальное описание многих улик и доказательств, которые на самом деле оказываются ложными. В романе «Возвращение грехов» наличие множества непровержимых улик, подтверждающих совершение со стороны Тевадзе убийства (в том числе и сознание последнего в совершении преступления) наводит

сыщика на иные выводы, и он методом дедукции опровергает эти доказательства и раскрывает преступление. В романе «Выстрел на рождество» все улики убийства фотомодели указывают на ее любовника – русского олигарха. Однако в ходе расследования эти доказательства постепенно опровергаются.

Художественное пространство

Отличительной чертой детективов Ч. Абдуллаева является отказ от ограничения художественного произведения местом совершения преступления, что характерно для классических детективов. Если для рассказа и повести пространственное ограничение является жанрово характерной чертой, то для романа не характерно пространственное ограничение. Однако в классических детективных романах нередко можно встретить подобное ограничение. Примером рассказа, в котором имеется локализованное художественное пространство, является детектив Ч. Абдуллаева «Смерть над Атлантикой», в котором художественное пространство ограничено лайнером, на котором и совершено преступление. Примером повести, в которой имеется локализованное художественное пространство, являются детективы Ч. Абдуллаева «Любить и умереть в Андорре» и «Тоннель призраков». В повести «Любить и умереть в Андорре» убийство восьми разведчиков происходит на территории карликового государства Андорры. В повести «Тоннель призраков» события локализованы в вагоне поезда, идущего по тоннелю под Ла-Маншем.

Вместе с тем, и в отдельных криминальных романах Ч. Абдуллаева художественное пространство часто локализовано. Например, в романе «Джентльменское соглашение» художественное пространство ограничено местом, где группа олигархов решила разыграть в покер английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Схожая картина создается в романе «Полное каре», где фабула выстроена вокруг турнира по покеру, который проходит в Монако. В романе «Выстрел на Рождество» художественное пространство ограничено замком, в котором и было совершено убийство фотомодели. В романе «Забава королей» художественное пространство не выходит за рамки имения, находящегося недалеко от столицы Кении Найроби. В романе «Клан новых амазонок» повествование сконцентрировано на загородной вилле Пашкова, где последний и был зарезан. В произведении «Океан ненависти» (в разных изданиях жанровая форма определяется как роман или как повесть) сюжет преступления и сюжет расследования пространственно не выходят за рамки турецкого курорта, на котором происходит череда убийства российских туристов. В романе «Только свои» художественное пространство ограничено особняком неподалеку от Лондона, в котором в канун Рождества происходит убийство. В романе «Второе рождение Венеры» сюжет преступления и сюжет расследования не выходят за рамки острова Мадейра. В детективе «Чудом выживший, или Долина откровений» событийная основа локализована на индонезийском острове Калимантан. Следует отметить, что пространственная локализация событий в криминальных детективах Ч. Абдуллаева отражает в себе элементы классического детектива, для которого характерна консолидация черт готического романа с сюжетом замка.

Элемент загадочности

Ч. Абдуллаев – мастер загадки. В его детективах используется все разнообразие художественных приемов для создания и поддержания загадки, которая присуща детективной литературе. Для творчества Ч. Абдуллаева не характерны анти-детективы. Такие произведения немногочисленны. Например, в романе «Ангел боли. Путешествие по Апеннинам» маньяк-убийца заранее сообщает, где совершит преступление, но ему удается ускользнуть. За «стаффордским мясником» начата охота, которая продолжается и в романе «Ангел боли. Три четверти его души». И в этом детективе преступник продолжает игру с преследовате-

лями, заранее предупреждая их о месте своего следующего преступления. Преследование преступника-маньяка Баратова, состязание на опережение между ним и Дронго составляют основу сюжета романа «Адаптация совести».

В большинстве же своих детективов Ч. Абдуллаев использует классическую схему, согласно которой преступление совершено или до начала повествования (например, роман «Забывтый сон»), или в завязке произведения. Автор вводит в произведение загадку с самого начала и сохраняет ее до развязки.

Формирование загадки осуществляется различными способами. Однако наиболее распространенные способы – совершение убийства неустановленными лицами или исчезновение человека в самом начале произведения. Например, в романе «Бакинский бульвар» смерть топ-менеджера компании «Бритиш Петролеум» Омара Халеда после встречи с Фаридой Велиевой произошла при загадочных обстоятельствах. Аналогичная композиционная структура характерна для существенной части романов автора:

– в романе «Жертва здравого смысла» убийство одного из охранников во время вечеринки Антона Кульчицкого во время вечеринки на острове Родос происходит при загадочных обстоятельствах;

– в романе «Власть маски» сюжетная линия преступления завязывается вокруг убийства репортера Антонио Моничелли и кинозвезды Кристин Ландегрен;

– в романе «В поисках бафоса» загадочное убийство Сарвара Максудова происходит на его вилле, когда там находился Дронго (при этом сам Дронго становится главным подозреваемым).

– в романе «Выбери себе смерть» завязка построена на исчезновении сына крупного бизнесмена, который был в сопровождении трех телохранителей. При этом сам факт наличия преступления остается долгое время загадкой – нет понимания, имело ли место похищение или убийство. Схожее сюжетное решение используется в романе «Золотое правило этики».

Ч. Абдуллаев старается на протяжении всего сюжета своих произведений сохранить загадку, отодвигая отгадку в самый конец. Наиболее ярко это проявляется в романе «Идеальная мишень»: сюжет выстроен таким образом, что постепенно рассыпаются все улики, а образы-свидетели погибают. Устранение свидетелей характерно и для романа «Опрокинутая реальность», когда в разных городах (Париж, Москва, Амстердам) погибают один за другим свидетели. Методическое устранение свидетелей и уничтожение улик характерно и для романов «Тень Ирода», «Обозначенное присутствие» и т.д. В романе «Мое прекрасное алиби» применен совершенно иной художественный прием: профессиональный убийца после ликвидации главарей мафиозных синдикатов не покидал место преступления, но заранее себе готовил алиби. В этом невзрачном и бедно одетом инвалиде следователи не могли увидеть профессионального киллера.

В отдельных детективах загадка и интрига поддерживается в повествовании за счет сокрытия мотива совершения преступления или наличия у всех лиц неоспоримого алиби. К числу таких произведений можно отнести роман «Окончательный диагноз». Вплоть до самой развязки мотивы убийства академика Глушкова остаются нераскрытыми. А в романе «Факир на все времена» у всех лиц, которые находились в отеле на турецком побережье Черного моря во время убийства российского бизнесмена, имеется алиби.

Перенос разгадки на конец характерен не только для романов Чингиза Абдуллаева, но и для его повестей. Так, в повести «Взгляд Горгоны» интрига вокруг персонажа «Медуза Горгона», шантажирующего главного героя Горбовского, сохраняется до самой развязки.

ДЖАВИД ГАСЫМОВ

Джавид Гасымов родился в семье педагогов. Окончил среднюю школу № 7 г. Баку. В 1977 году окончил Азербайджанский государственный медицинский институт. Живет и работает в Гяндже врачом-психиатром. С детства много читает. Как говорит сам автор, увлечение художественной литературой это не хобби, а образ жизни. Несомненно, профессия, встречи с самыми разными человеческими судьбами повлияли и наложили отпечаток на его творчество.

НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

Глаза

Тридцатидвухлетний Насиб Раджабов сидел в своем мерседесе, ожидая друга, когда его от раздумий оторвал звонкий детский голос:

– Дядя, дай один мамедамин.

– А зачем тебе?

– Есть хочу, булку куплю.

Насиб посмотрел на мальчика. У машины стоял худенький, как тростинка, подросток 8-10 лет, неброско одетый, но с очень умными, выразительными глазами, которые выжидательно смотрели на него.

– А родители где?

– Они очень старые, не могут меня досыта накормить.

– Хм... очень старые родители и такой юный пацан...

Насиб хотел отшить мальчугана, но что-то в его внешности тронуло его, наверное, его глаза.

– А ну сядь в машину, поговорим.

Мальчуган без страха и без лишних вопросов влез на переднее сиденье и снова молча уставился на Насиба.

– Учишься в школе?

– А зачем? Что она мне даст? Вот мой сосед учится в школе, а все равно ходит в оборванных штанах.

– А ты, значит, ходишь в обновках?

Мальчуган скользнул взглядом по своим потертым брюкам, шмыгнув носом и промолчал.

– Слушай мужик, звать-то тебя как?

– Низами.

– Гянджеви?

– Нет, Мамедов.

– Слушай, Низами Мамедов. Я могу дать тебе один мамедамин и даже один ширван. Ты их потратишь – и все. Взамен денег скажу тебе пару слов. Не волшебных, правда. Но если прислушаешься и хватит ума, чтобы воспользоваться ими, то в будущем голодать не будешь. – Подумав немного, подбирая слова, чтобы парнишка его

понял, продолжил: – Мужчина, Низами, должен отличаться от собаки – тулы.

– Не понял...

– Мужчина – это тот, который сам, своим трудом зарабатывает себе на хлеб, а тула – эта тот, который ничего не делает, лижет руку тому, кто ее кормит, виляя при этом хвостом. Понял?

– Не совсем...

– Представь себе большой свадебный стол. Во главе его сидит большой начальник, а вокруг – его подчиненные. Один из них каждый раз, когда произносят тосты, выбегает с места и бежит к своему начальнику, чтобы чокнуться с его рюмкой. И так каждый раз, при очередном тосте огибает большой стол, бежит и чокается с восторгом с начальником, не обращая внимания на неодобрительные взгляды окружающих. Ему самое главное – лизнуть руку. Теперь ты понял, что такое быть тулой?

– Понял...

– Так кем ты хочешь стать по жизни? Мужчиной или тулой?

Мальчик помолчал, затем тихим голосом произнес:

– Я тебя услышал...

– Если услышал, тогда иди. Иди и еще раз подумай. Достоин ли ты лишь просить подавание. Если не можешь или не хочешь учиться, не учишься. Дело твое. Тебе с этим жить. Но постарайся, очень постарайся приобрести какую-нибудь профессию. И будь независимым ни от кого. И ходи с поднятой головой, а не опущенной, как тула. А теперь уходи.

Насиб подумал, что если он опять, после его внушения, попросит деньги, то уже – все, его трудно будет изменить, значит, он так ничего и не понял. Мальчуган тихо скользнул с сидения, хлопнул дверью и ушел. И ни разу не оглянулся.

Насиб долго смотрел ему вслед, пока он не исчез из виду. Перед глазами начали проходить собственные школьные годы. Он рос в малообеспеченной, многодетной семье. На жизнь, правда, хватало. И мать и отец работали, но получали небольшую зарплату. И лишнего ничего не оставалось, т.е. не было сбережений на «черный» день. Иногда матери даже приходилось занимать 10-15 рублей до зарплаты. Находились, конечно, тогда и обеспеченные люди, но было их мало, и они старались не выделяться от других. Ни у кого не было таких роскошных машин, как сейчас. Но в их семье никому и в голову не приходила мысль попрошайничать, да и вокруг себя таковых Насиб не мог припомнить. Попрошайки встречались, но они казались жителями другой планеты. Самое большее, что он и дворовые ребята могли себе позволить – это собирать в подворотнях пустые бутылки и сдавать их. Пол-литровые бутылки принимали за 10 коп. а 0,75 за 15 коп. А стоили они в приемных пунктах, как потом узнал Насиб, 12-17 коп. соответственно. Тогда за одну копейку можно было купить коробку спичек, а пирожное Наполеон стоило 22 копейки. Из каждой бутылки приемщику оставалось 2 копейки, а бутылок за день принималось по несколько тысяч штук, – люди вставали в очередь в пунктах по приему тары.

Большие деньги крутились там...

...В их классе, несмотря на то, что их школа находилась в самом центре города, дети одевались очень скромно. Когда кто-то из мальчишек приходил в новых брюках, это считалось событием. Все мальчишки с завистью поглядывали на счастливого обладателя обновки. Обычно все донашивали одежду старших братьев и сестер. Насиб, к его удовольствию, был старшим ребенком в семье, так что новую одежду родители покупали именно ему. Счастливым было время...

В ожидании друга неожиданно для самого себя память унесла Насиба в школьные годы. Школу он любил. С нетерпением ждал утра, чтобы пойти в школу, а после уроков, пообедав, выходил во двор. Он учился в азербайджанской школе, а во дворе были и азербайджанцы, и русские, и армяне, и евреи... было весело...

Насиб был неусидчивым и задиристым подростком. Родители были педагогами и учителя часто ставили ему это в упрек: «мол, посмотрите на него, из семьи педагогов, а хулиганистый. Спасало то, что учился он хорошо, отличником не был, но все схватывал очень быстро, мог пересказать новую тему сразу, без подготовки.

Однажды, – на всю жизнь он запомнил тот случай – в шестом классе классный руководитель после долгих замечаний отвесила ему оплеуху. Вечером он пожаловался отцу. Отец, не подняв головы от школьных тетрадей, которые он проверял, сказал: «Сидел бы тихо, не получил бы», – и все. Тема была закрыта. Зная беспокойный характер сына, отец проявил коллегиальную солидарность. Но Насиб также знал, что отец ни в школе, – где работал, – ни дома, никогда не повышал голоса и рукоприкладством не занимался. И сейчас его фраза поставила все точки над і.

Родители всегда учили Насиба, что человек рано или поздно получает то, что заслуживает. Результаты всех поступков обязательно возвращаются к человеку и часто в удвоенном, утроенном виде. Неважно, хорошие они или плохие. В подтверждение этих слов был случай, произошедший с его дедом по материнской линии, о котором ему рассказал дядя.

Дед в тридцатые годы прошлого столетия занимал должность окружного судьи, – была такая должность в то время.

Так вот, как-то раз деду пришлось разбираться с делом человека, которому грозила высшая мера наказания, – расстрел. Родственники подсудимого с очень большой суммой денег и драгоценностями ночью явились к деду домой, чтобы договориться о его дальнейшей судьбе. Дед был идейным большевиком. Но после беседы с родственниками и более внимательного изучения дела он усомнился в запрашиваемой мере наказания. Отказавшись взять пакет с деньгами и драгоценностями, он пообещал помочь, если это будет возможно. И помог. В ходе судебного разбирательства выявились новые обстоятельства дела в пользу обвиняемого, и он избежал расстрела, получив всего 13 лет лагерей. Много воды утекло после того случая.

Началась вторая мировая война и деда должны были забрать на фронт в составе войск НКВД. А ему в тот момент, как назло, очень нужна была отсрочка, хотя бы на три месяца. Но разве в ту пору можно было заикнуться об этом? В военкомате начальство знало об этом, – дед обращался с просьбой помочь ему, – но никто не решался взять на себя такую ответственность, тем более, что части госбезопасности военкомату не подчинялись. И вот в назначенный день дед с рюкзаком на спине явился в бакинский морской порт для отправки на фронт. После погрузки баржи шли в Астрахань, а оттуда уже отправлялись на фронт. Во время переключки почему-то фамилии деда не называли. Началась погрузка. Дед вместе братом, который провожал его, направились к командиру, отвечающему за отправку. Командир принял их и сказал, что в курсе дедовских проблем и что вечером сам зайдет к ним домой и занесет соответствующие документы об отсрочке. Вечером вся семья деда, все братья, теряясь в догадках, с большой тревогой ожидали визита командира. Трудное и тяжелое было время. Любой поступок мог вызвать подозрительность, тем более поступок человека, занимающего такую должность, какую занимал дед. Гость пришел к восьми часам вечера. Накрыли стол, как могли. Шел ведь 1942 год. Гость зашел, сел за стол. Огля-

делся вокруг, задержал взгляд на стене, на которой висел ковер с азербайджанским национальным орнаментом, проговорив при этом тихо, что «ничего здесь не изменилось с того времени», достал из кармана своего кителя документы.

– Помнишь, восемь лет назад к тебе заходили люди по поводу одного человека, которому грозила высшая мера? Ты не взял ни копейки и помог ему. Так вот – я его младший брат.

А баржу, которая должна была доставить деда на фронт, ночью разбомбила и потопила немецкая авиация. Никто не спасся... Такие вот были дела... Такие судьбы...

У Насиба каждый раз мурашки пробегали по спине, когда он вспоминал эту историю... И впрямь, не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Дед через четыре месяца отправился на фронт. На такой же барже. Воевал до апреля 1945 года и благополучно вернулся домой, к семье, где его ждали жена, сын и четыре дочери. И снова работал судьей. А потом, уже на пенсии, работал адвокатом. Дожил до глубокой старости... Так-то, бывают поступки, которые возвращаются к тебе в виде неожиданной помощи, а бывают – вернувшись, укорачивают ее... бывает... как бывает...

...Посмотрев на часы, Насиб понял, что ждать больше бесполезно, его друг почему-то задержался, и, заведя мотор, поехал домой. Дома его ждали жена и пятилетняя дочь Азиза, в которой он души не чаял. Поставив машину в гараж, Насиб вошел в дом, вымыл руки и направился в гостиную. Жена, как всегда, хлопотала на кухне, дочь же его ненаглядная, сидя на диване, листала книжку с картинками. Увидев отца, она бросилась ему на шею со словами: «Папа пришел, папа пришел». Нацеловавшись, Насиб опустил ее на пол. Азиза посмотрела на его пустые руки и, надув губки, обиженно произнесла:

– А где мои шоколадки? Опять не купил?

Насиб пожал плечами:

– Много шоколада будешь есть, зубки выпадут. Иди, лучше скажи маме, чтобы накрыла на стол, будем ужинать.

Но чувствовалось, что Азиза еще дует на отца. Постояв несколько секунд в нерешительности, она спросила:

– Папа, который час?

– Уже девять. А что?

– Магазин еще открыт. Дай один мамедамин, пойду с мамой шоколадку куплю. Баунти – такой вкусный.

Насиб с изумлением посмотрел на дочь. Перед ним возникли глаза мальчугана, с которым он сегодня говорил. Ему стало не по себе. Может, мальчик действительно был голоден, а он ему голову морочил своими советами? Но Насиб был твердо убежден, что жить в нищете – это одно, а просить милостыню с малолетства, когда у человека еще есть шанс выровнять свою жизнь, – это другое. Из нищеты можно выбраться, если твердо хочешь изменить свою жизнь. Но если у человека сложилось нищенское мышление, то, даже если ему улыбнется удача и у него появится куча денег, то он все равно останется нищим.

В этой жизни всем тем, чем обладал Насиб, – домом, машиной, обеспеченной работой, уважением в своем кругу, – он был обязан только самому себе, своему уму, деловым качеством, умением говорить с людьми и убеждать их. Он всегда старался не конфликтовать по пустякам. Иногда уступал, понимая, что без этих уступок ни одно дело не обходится. Невозможно всегда быть правым. Поэтому всегда находил пути компромисса на взаимовыгодных условиях. Никто не должен остаться обижен-

ным, тем более обзленным. Излишней принципиальностью можно испортить дела и свои, и тех, с кем ты связан бизнесом. Поэтому он никогда не был уперто принципиальным. Но есть вещи, в которых принципиальность необходима. Особенно в воспитании, если родители хотят, чтобы дети выросли здоровыми, умными и счастливыми. Родители всегда хотят именно этого, а на деле поступают так, что дети часто вырастают болезненными, изнеженными, не готовыми к превратностям судьбы, с неустойчивой нервной системой, не говоря уже об искалеченных характерах. И поэтому, – думал Насиб, – чем больше беседуешь и убеждаешь ребенка, рассказываешь ему реальные истории, не отсылая к книжкам и телевизору, тем лучше. Не поить и не кормить их постоянно сладостями, чтобы они замолчали и не хныкали. Иные родители думают, что чем больше кормишь детей сладостями, тем слаще они бывают...

– Слушай, Азиза, крошка, моя самая-самая любимая, неужели ты думаешь, что если я хотел бы купить тебе шоколадку, то забыл? Если будешь есть много шоколада, твои зубки начнут выпадать, вон они уже шатаются, а другие зубки, которые вырастут взамен этих, окажутся испорченными, некрасивыми. И ты будешь ходить с черными и больными зубами, которые тоже выпадут. И в школе тебя будут называть «мырых диш» Азиза. Ты этого хочешь?

Азиза обиженно выпятила губки, церемонно вздохнула и убежала на кухню помогать матери. «Интересно, убедил ли я ее?» – подумал Насиб.

Образ подростка, которого он сегодня встретил, не покидал его. Его очень выразительные не по возрасту глаза как будто осуждали Насиба и укоризненно шептали ему: «Какой же ты противный человек. И мне пожалел один мамедамин на хлеб, и дочку обидел. А ее-то за что? На что же ты деньги копишь, если никому не можешь радость доставить, а?» Глаза постепенно удалялись от него. Насиб встряхнулся от озноба в теле и сел за стол в ожидании ужина. Он был убежден, что если бы этот паренек вновь встретился с ним, он опять денег бы ему не дал. «Лучше бы я предложил ему какую-нибудь легкую работу у себя в магазине. Приходил бы после школы, переставлял бы баночки, бутылочки, занялся бы чем-нибудь. Как же я не догадался об этом», – корил себя Насиб.

Сидя за столом и глядя на светившееся улыбкой лицо дочери, – дочь уже была про шоколадку и уплетала за обе щеки вареную курочку, Насиб, по ассоциации с сегодняшним случаем, вспомнил снова свое детство, когда он радовался шоколадкам, которые мама покупала по 100 гр. два раза в месяц, – в аванс и получку. 100 гр. шоколадных конфет марки «Мишка косолапый» на троих в течение 15 дней. Там было всего семь конфет. По три им, а одну себе, с чаем. Конфетки эти они проглатывали сразу. И как радовались...

Его мысли снова вернулись к дочери. «Через год Азиза пойдет в первый класс. Даст Бог, он сам отвезет ее на первый школьный звонок. И будет сам следить за ее учебой. Будем надеяться, Азиза будет прилежной ученицей, похожей на мать. Не то, что отец. И послушной. Не будет пререкаться со старшими. Будет внимать им и прислушиваться к их советам. И в то же время иметь и развивать собственную голову. Азиза у нас умная девочка. Она уже знает все буквы и умеет читать, – по слогам, правда. И в математике сильна. Знает, что если от одного ширвана отнять три мамедамина на шоколадки, то семь мамедаминов останется на другие сладости. Насиб даже засмеялся вслух над своими мыслями, махнув рукой на удивленное лицо жены, мол, «проехали», не объясняя причину своего веселья...

...Азиза вошла в дом, пригласив войти за собой молодого человека. Лицо Азизы светилось смущенной улыбкой. Родители знали, что их дочь сегодня пригласит в дом своего избранника и не возражали с ним познакомиться. Честно говоря, это было больше пожелание Насиба, хотел убедиться в правильности выбора дочери. Это был симпатичный парень среднего роста, подтянутый, прилично одетый. Костюм плотно облегал его фигуру, рубашка была спортивного стиля, без галстука. От Насиба не укрылся пронзительный взгляд парня, брошенный в его сторону. Что-то знакомое, напомнившее ему о чем-то в прошлом, промелькнуло в этом взгляде, что заставило Насиба более внимательно всмотреться в его лицо. Прямой нос, слегка тяжеловесный подбородок, – все это ни о чем ему не говорило. А вот глаза, умные, выразительные, испытующие, напоминали ему о чем-то, о ком-то. Насиб на несколько секунд застыл, отвлекся от настоящего момента, пытаясь что-то вспомнить. Вдруг эти глаза всплыли из прошлого, напомнили ему того, кого он одно время, около 20 лет назад, часто вспоминал и не мог простить себе, что ничего не сделал для него...

Тростинку с живыми, выразительными глазами...

...Парень подошел к нему и пожал протянутую Насибом руку. Рукопожатие было сильным. Насиб всегда любил сильное рукопожатие. Слабое, вялое всегда вызывало неудовлетворенность этим человеком, чувство ненадежности.

– Низами, – представился парень, неотрывно смотря в лицо Насибу, словно заставляя его вспомнить прошлое. И у Насиба невольно вырвалось:

– Гянджеви?

– Нет. Мамедов.

– Узнал меня?

– Давно узнал, по вашему фото. Азиза показывала. Ваше лицо я всегда помнил, хотя видел всего один раз. Никогда не забывал. И часто, мысленно, в трудные для меня минуты, разговаривал с ним.

– Азиза, – обратился Насиб к стоящей рядом недоумевавшей происходящим дочери, – мы с Низами поговорим наедине некоторое время, а потом присоединимся к вам в гостиной. – Они прошли в кабинет Насиба. Расположились в креслах друг против друга, – один обладатель, – скорее временный хранитель, – сокровища, другой же – претендующий на постоянное обладание этим сокровищем. – А теперь, Низами Мамедов, подробно все про себя, с того самого момента, когда мы с тобой расстались в тот день, вплоть до сегодняшнего дня. И запомни: Азиза у меня – единственная дочь. Мне приходится уважать ее выбор, но и ты не думай, что я ее выдам за первого встречного, если даже ты смог основательно запудрить ей мозги.

Но Насиб уже понял, что перед ним уже совсем другой, уверенный в себе человек, просящий у него не мамедамин, а все его сокровища – единственную дочь. «Но вначале посмотрим, на что он способен», – подумал Насиб.

А Низами задумался, как бы собираясь с мыслями и воспоминаниями.

– Я начну с того самого дня, как вы просите. После того, как я ушел от вас, я пошел домой. И всю ночь проплакал. Проклинал и себя, и родителей, которые знали и не мешали мне (вспомнил слова отца, который говорил матери, что, мол, пусть зарабатывает, как может), и Бога, который позволил мне явиться в этот мир, – мир несправедливости и нищеты.. У меня было накоплено несколько ширванов. Хотел себе брюки купить, джинсовые...Я их в ту же ночь разорвал и сжег. Одну только оставил. На память о тех днях. И до сих пор храню. После ваших слов я не мог успокоиться. Не хотел чувствовать себя тулой, хотя очень люблю собак. Я вспомнил, как у нас во

дворе мальчишки пинали дворнягу. Она же, прижавшись к дереву, вся дрожала и скулила. Дети были старше меня, и я не мог заступиться за нее. И тогда я заплакал. Очень сильно, в голос. Мне было всего семь лет, и я ходил в первый класс. Дети перестали бить собаку и ушли. Я подошел, обнял ее. Она вся тряслась. Потом успокоилась и лизнула мое лицо, а затем и руку, которой ее гладил. Это меня так потрясло, что я снова заплакал. Но уже от счастья.

После ваших слов я понял, что не хочу быть битой собакой. Я понял, что в этой жизни человек должен уметь за себя постоять. И надеяться может только на самого себя. Тогда я очень обиделся на вас. Не за то, что вы пожалели для меня мамедамин. А за то, что указали мне мое место. Объяснили мне, что если я буду продолжать жить так, как я живу, то мое место будет у ног хозяина. Ваши слова изменили мою жизнь. Они заставили меня посмотреть на себя со стороны и ужаснуться. Я не пожалел себя. Я себя стал презирать. Я вернулся в школу. Вы даже не представляете, как усердно я учился. Было время, когда я действительно голодал. Мои родители были пожилыми людьми, а я – поздним, и поэтому нежеланным ребенком в семье (Это я потом от старшей сестры узнал). Последний из братьев был старше меня на десять лет. А матери, когда она меня родила, было 44 года.

После школы я поступил на экономический факультет. Сам. Хотел работать в банке. А потом вспомнил ваши слова о профессии. Занялся, параллельно с учебой в институте, ремонтом автомобилей. Теперь я отличный специалист по ремонту двигателей любой марки. Начинал просто учеником у дяди. У него был небольшой профилакторий на окраине города, всего с тремя цехами. Моторный, слесарный и электрический цех. Свободных дней у меня не было, с утра до ночи – то в институте, то на работе. Как питался, и сам не помню. Зарабатывал сущие гроши. Одевался, как попало. Со второго курса перевелся на заочное отделение. На пятом, последнем курсе приобрел дядин профилакторий. Сыновей у него не было, только три дочери, да и сам по старости с трудом приходил на работу. Меня любил. После возвращения из армии я расширился, построил еще четыре цеха. Благо, машины в то время постоянно прибавлялись, но в основном старые иномарки, требующие со временем капитального ремонта. Через два года, после того как начал самостоятельно работать, открыл в черте города еще два небольших, – по три цеха в каждом, – но хорошо оснащенных профилактория. Несколько раз брал приличные суммы в банках. Некоторые суммы одалживали друзья. Купил однокомнатную квартиру, правда, не в центре города, сделал приличный ремонт, приобрел недорогую иномарку. Живу один. Женат не был. Вот и вся моя история.

– А с моей дочерью как познакомился?

– Она была клиенткой нашего профилактория. Я как впервые увидел ее, во мне на миг что-то надломилось. Когда она въехала на своей красивой иномарке в наш цех, я снова почувствовал себя очень маленьким и беззащитным. Куда делась в тот момент моя уверенность, мои упорные, трудовые, самостоятельные годы, я понять не мог. Она как будто спустилась с совершенно другого мира и заговорила со мной так просто, что я даже растерялся. А она, почувствовав мою растерянность, подбадривала меня своей улыбкой. Это нужно было увидеть. С меня спала вся моя самоуверенность, накопленная за последние годы самостоятельной жизни. Эти ощущения – непередаваемые. Их мог почувствовать только человек, который когда-то жил с протянутой рукой. Это время жизни невозможно забыть, удалить из памяти. Да зачем это и нужно? Я ведь не стыжусь того времени. Я преодолел в себе это чувство, – быть

зависимым от кого-то, лизать чью-то руку. После того, как я поступил в институт, я неоднократно, мысленно просил прощение у Бога, у родителей у своей судьбы за то, что в ту ночь дал слабину из-за своего несовершенства и молодости и усомнился в Божественном всеведении и всезнании. Возможно, это он направил меня к вашей машине и вложил в ваши уста пожелания в мой адрес.

Видимо, пришло в тот вечер переосмысление мной моего места в жизни.

А потом мы с, Азизой познакомились и со временем наши пути сошлись... А когда Азиза показала мне ваше фото, я понял, что это – знамение, что не могут случаться такие случайности, что меня ведет воля Божья ... с начала я встретил вас, а потом вашу дочь. И не просто встретил, а полюбил ее всем сердцем. И я очень, очень люблю вашу дочь и прошу вас благословить нас в нашем решении пожениться.

Низами умолк. Насиб вздохнул. Видимо ему уже никогда не укрыться от этих выразительных детских глаз, преследовавших его. Они преследовали и, наконец, нашли его. Но эти глаза уже перестали быть наивными и беспомощными. Они выражали уже силу и целеустремленность. И в то же время опять просящие... но уже руку его дочери. Но цена этой просьбы была уже не один мамедамин, а будущее его единственной дочери. Но Насиб почему-то был уверен, что в этой просьбе он ему не откажет. Человек, прошедший такую школу жизни, не подведет, не только Насиба, в его желании увидеть свою дочь счастливой, но и себя, свою сущность, свое стремление достичь в этой жизни всего собственными силами.

– Низами, теперь послушай меня, и вот что я тебе скажу. Существо, которое только, что родилось, – это еще не человек. Человеком отнюдь не рождаются. Человеком становятся. Но вот каким – это уже другой вопрос.

Ты мне, Низами, нравишься. Мне кажется, я могу доверить тебе судьбу свой дочери. Но запомни. В семье самое главное, – поверь моему жизненному опыту, – для мужчины, это быть уважаемым у домочадцев. Не имея уважения в собственной семье, невозможно построить взаимоуважительные отношения с другими людьми. Будет взаимное уважение, будет согласие в семье, – и в этом доме воцарится порядок и благополучие. Хотя мое мнение и консервативное, я не добиваюсь того, чтобы оно стало для тебя истиной в последней инстанции. У тебя своя голова. Пользуйся ею, как знаешь. Я со своей стороны могу обещать только то, что в ваши семейные дела вмешиваться не буду. Как постройте семейный очаг, так и будете греться вокруг него. Кто туда будет забрасывать угли, а кто будет раздувать огонь семейного благополучия, – это уже вам решать. Так, что Низами, посылай своих сватов.

После этих слов они перешли в гостиную, где их ждали Азиза с матерю. По слегка улыбающемуся лицу отца Азиза поняла, что все хорошо.

Зная строгий и принципиальный характер отца, она беспокоилась немного. Еще большее беспокойство вызвал странный диалог Низами с отцом при встрече. Как будто они были уже давно знакомы. А вдруг Низами отцу не понравится? Что ей тогда делать? Настаивать на своем?

Имея характер независимый, она в то же время всегда покорялась родительской воле. Ни под каким видом она не стала бы огорчать их. Даже если бы пришлось отказаться от своей любви. Она просто не смогла бы пойти против воли отца. Но увидев спокойные лица обоих, особенно еле заметную торжествующую улыбку Низами, она возликовала в душе, поблагодарила Бога за то, что он не оставил ее молитвы без внимания, не оставил ее без своей милости. С этой минуты у нее начинается новая страница в жизни. Незнакомая и заманчивая. Она была счастлива.

Чужое сердце

Время... Неизвестно откуда оно берет свое начало, куда течет, а может и стоит... Возможно, это вытекает наша с вами жизнь, как вода из сосуда, уменьшается, как «шагреновая кожа».... С младенчества до старости. У кого как. Кому сколько отпущено. Но интересно, кем? Аллахом? Судьбой? Внутренними часами? А может, сцеплением генов? Неизвестно... А может, и нет времени совсем? А может, это сами люди придумали для обозначения того, когда и что произошло, кому что вернуть или получить? Еще есть разговоры о том, что Времени нет, есть только Вечность. А жизнь на фоне вечности – это искорка: то загорается, то гаснет. Кто знает? Знатоки времен то прибывают, то убывают, миры то строятся, то рушатся... а вечность остается.

А еще говорят, что время лечит. От безответной любви и горя, от потери богатства и предательства, от многого чего. Действительно, люди привыкают к новым обстоятельствам жизни, да и печаль, и радость убывают со временем, и лица могут озариться кривой улыбкой. Много чего может произойти со временем.

Но порой случается так, что жизнь может разделиться на периоды до потери близких и после... Это невозполнимые потери...

...Трехкомнатная квартира инженера Шамси Мамедова отражала в себе все краски печали. Все зеркала в доме были завешаны черной тканью. Не светился телевизор, не было слышно зычного голоса Шамси-муаллима. Ответы жены раздавались полупшепотом. Хотя в комнате и было светло от солнечного света, в квартире ощущался полумрак, тягучая тишина. Обычно гостеприимный дом Шамси превратился в тихий и мрачный склеп при живых обитателях. Год с лишним тому назад в автотатастрофе погиб их сын. У Шамси-муаллима было двое детей: старшая дочь и сын. Дочь была замужем и жила отдельно. Сын учился в университете в Москве. Возвращаясь с вечеринки, попал в аварию и погиб. Сидел на переднем сидении и ударился головой в лобовое стекло. Подушки безопасности не раскрылись. Так иногда бывает. На беду сына. Через день после аварии сын скончался в больнице, не приходя в сознание, от, как сказали врачи, черепно-мозговой травмы, несовместимой с жизнью. Сына привезли в Баку и похоронили рядом с дедом, отцом Шамси-муаллима. На похоронах Шамси-муаллим не плакал, не стонал. Не проклинал судьбу, которая увела у него сына, ни виновника аварии, который был пьяным, никого. Он только молчал, стиснув зубы. Не мешал жене и родственницам голосить и причитать. Как будто все это его не касалось. Поседел, правда, немного. И лицо сморщилось. Он был потерян. «Лучше бы Азраил забрал меня, а не сына», – думал и винил в смерти сына только себя. – «Это я разрешил ему уехать с друзьями в Москву, как будто здесь нельзя было учиться». Шамси-муаллим отпустил сына нехотя, но сильно и не противился. «Пусть поживет самостоятельно, познает трудности и откровения жизни», – думал он.

«Гисмет, что поделаешь, поздно уже убиваться», – как бы утешал себя Шамси-муаллим. Он и не предполагал, какие для него, для семьи дни наступят после похорон и поминок. Пока он был занят печальными хлопотами, ночью, как ни странно, проваливался в глубокий сон. Но утро не приносило облегчения. Те же усталость и подавленность, что и вчера. Никакого просвета. Не смотрел на жену. Он знал ее. Знал, что она не оправится. Не смотрел на дочь, которая состарилась лет на десять.

Прошло больше года после тех событий. Но ничего в их жизни не изменилось. Та же мрачная квартира, темная обстановка и полуживые отношения между супру-

гами. Только дочка стала чаще навещать их. Жена ушла спать в комнату сына. Говорит, что там вдыхает его запах и дышится легче. Легче ли? И твердит постоянно, что он живой и вернется к ним. Что его одежда оживает, когда время от времени она стирает и гладит его вещи. Иногда с ними разговаривает. Не сошла бы с ума...

Жизнь вокруг них текла своей чередой, унылая и постылая, не приносящая радости. Прошло уже больше года после этой трагедии. Раньше родственники часто приходили к ним, утешали жену и дочь. Потом начали приходить все реже и реже, а после годовщины и вовсе изредка. Наверное своими частыми визитами не хотели напоминать им об их горе... Наверное... Это было их горе. Горе их семьи. И нечего втравливать в него других. Даже самых близких. Мало у них своих забот?

Вокруг рос и процветал их город, строились высотки, разбивались парки и детские площадки, откуда доносились щебетание и визг детских голосов. Продолжалось армяно-азербайджанское противостояние, цена на нефть то поднималась, то опускалась – слышал, когда обсуждали на работе. Все было как обычно. Но не все. Не было их сына. И все с этим для них погасло: и огни города, и свет в сердцах. Все было не так как раньше.

И вот однажды вечером раздался телефонный звонок. Не мобильный. Домашний. Звонок вроде был междугородний. Шамси-муаллим поднял трубку:

– Алло, слушаю вас.

– Простите, ради бога, – раздался взволнованный голос, говорящий на русском языке, – вам звонят из Еревана, меня зовут Арам Гургенович. У нас случилось большое несчастье. И я прошу вас помочь нам. – Голос чуть ли не рыдал.

– Послушайте уважаемый, куда вы звоните? Это Баку. Вы случайно не ошиблись номером, городом? У нас тут своих бед хватает, – не сдержался Шамси-муаллим.

– Послушайте, вы ведь Шамси Мамедович, правда? Это же ваш сын в прошлом году погиб в Москве, при аварии?

– Да, действительно, мой сын погиб в Москве. И что?

– Ваш сын жив. Вернее, его сердце живое и бьется в груди моего сына. Не перебивайте, пожалуйста, меня. Я сейчас подробно все вам объясню. Мой сын несколько месяцев находился в московской клинике в ожидании донора для пересадки сердца. В его собственном сердце врачи обнаружили какую-то злополучную болезнь, которая не поддавалась ни лечению, ни оперативному вмешательству, т.е. даже операция не спасла бы. Спасти его могла только пересадка сердца. В тот день, когда вашего сына в бессознательном состоянии привезли в клинику, врачи уже ничем ему не могли помочь. Сказали, что мозг уже умер, а сердце продолжает нормально работать. И к счастью... – тут Арам Гургенович запнулся. – Извините, ради бога, я понимаю, какое страдание я вам причиняю своими словами, – все его медицинские показатели соответствовали показателям моего сына, с незначительными расхождениями. И ему сделали пересадку, не дожидаясь вас, вашего разрешения. Дорог был каждый час. Мне так сказали. Мне только сказали, что он из Азербайджана. Я даже подумал: вот так судьба... А через некоторое время сын поправился, и я увез его домой. Когда три дня назад у него случилось это несчастье, я срочно прилетел в Москву, в клинику, узнал ваши координаты и вот я вам звоню.

Шамси-муаллим был ошеломлен услышанным. Как это они посмели у еще живого человека удалить сердце? Он был образованным человеком. Он знал, что если мозг погиб, то человеку уже ничем не поможешь. Он будет находиться на искусственном поддержании жизни в коматозном состоянии. Но он знал также, что суще-

ствует определенная процедура – разрешение родственников об изъятии сердца.

А может, его еще можно было спасти? Ведь он был жив, хотя и в бессознательном состоянии, когда из клиники позвонили и сообщили о его состоянии, и я предложил им любую сумму, любую, чтобы они спасли его, сделали все возможное... Словно угадав его терзания и сомнения, на другом конце провода проговорили:

– К сожалению, его уже никак невозможно было спасти. Я говорил с врачом-реаниматологом, который не знал о том, что мы ждем донора на пересадку. Его мозг был сильно травмирован и разрушен, а сердце еще билось....

– А что вы теперь от меня хотите?! – с горечью воскликнул Шамси-муаллим.

– Умоляю вас, выслушайте меня до конца. Так получилось, что мой сын настолько почувствовал себя хорошо, что с друзьями, которые приехали в отпуск, уехал на линию фронта. Остановился у дальних родственников, а через неделю с двумя друзьями-военными ночью заблудился, попал в засаду и был взят в плен вашими солдатами. Подробностей я не знаю, но это неважно, важно то, что он сейчас на вашей стороне и ему грозит опасность. Несколько дней назад погибли несколько ваших солдат, и я боюсь мести. Я умоляю вас помочь моему сыну... вашему сыну... – голос на том конце провода прервался рыданиями. – Ведь он не военный, и на линию фронта попал случайно. Сейчас он и ваш сын, ваш сын живет в нем, живет и дает жить другому... Вы же не захотите потерять его и во второй раз?

Шамси-муаллим слушал его как в полусне. «Да, да, он прав, этот армянин... – если говорит правду». Шамси-муаллим чувствовал в голове какое-то торможение, подавленность. Как будто все это горе снова обрушилось на него. Ему становилось трудно дышать. Если мужчина не лжет, то надо что-то постараться сделать.

– Хорошо, я постараюсь чем-то вам помочь.

Уточнив, в каком именно направлении парень попал в плен и его данные, Шамси-муаллим положил трубку. Что-то у него внутри дрогнуло. Он понимал, что бьющееся сердце еще не человек, но ощущение того, что от его сына осталось что-то живое, вдохновило его, подало какую-то надежду, хотя он и не понимал какую, но эта надежда высветила мрачные мысли светлым огоньком. На него повеяло теплом. Он не сразу ощутил, что находится весь в поту, бешено колотится его собственное сердце. И он поспешил к жене, не зная даже, как она воспримет эту новость.

Сердце их сына в груди их врага. Сын погиб, но его сердце продолжает жить и дает жить другому. Врагу. Но враг ли он? Шамси-муаллим, как и многие азербайджанцы, не был злопамятным. Он помнил ходжалинскую трагедию, помнил о сотнях убитых мирных жителях, о многочисленных жителях своей республики, которые были беженцами и которые потеряли буквально все. Он хорошо это помнил. Но в его душе не было той неистовой ненависти, которую питают к личным врагам. Он, к сожалению, не понимал, хорошо ли быть незлопамятным. Когда воюют два народа, погибают люди с этой и с другой стороны. Без вины. Хотя не бывают «без вины виноватые». А ходжалинские грудные младенцы? Они тоже виноватые... без вины?

Этот армянский парень знал, куда шел, по чьей земле ходил. Они все прекрасно знают и понимают, что это – чужие земли, что это земли когда-то дружественного им народа, и на них возможно попасть только с дружественными намерениями и не с оружием в руках. Но у него не было оружия. Так в чем же он все-таки виновен? В том, что армянин? Или же носитель идеи? Или же в том, что случайно оказался не в том месте и не в то время?

В таких серьезных делах как война, случайностей не бывает. Бывают намере-

ния... Но мальчику все же необходимо помочь. С этим он пошел к жене не только поделиться новостью, но и готовым решением.

Услышав сказанное, она встrepенулась, побелела как полотно, но не вымолвила ни слова. Но по лицу было видно, она поверила сразу. Без сомнения. После долгого молчания она наконец произнесла:

– Надо помочь этому армянину, его сыну... нашему сыну.

Когда Шамси-муаллим с женой появились в зоне боевых действий, было уже за полночь. Переночевав у добрых людей, благо таких людей в сельской местности Азербайджана много, они отправились в часть, где должны были содержаться пленные армяне. Командир части оказался очень усталым, но на редкость для военного, приветливым человеком. Выслушав их рассказ, он задумчиво сказал:

– Видите ли, мы обследовали вашего «подопечного» в первый же день и действительно зафиксировали на груди шрамы от проведенной операции. И в кармане у него обнаружили какие-то таблетки, которые он должен принимать ежедневно. Мы выяснили, что это за таблетки. Оказалось для того, чтобы не было отторжения ткани. Он знал, что ему пересадили сердце. И потом, он уже отличился до того, как попал к нам. И я только сейчас начинаю понимать, в чем дело. А дело оказывается в сердце вашего сына, в его влиянии. Или я ничего в этом не понимаю... Когда этих троих армян везли через село, один из местных узнал его. Несколько дней назад этот житель случайно оказался на территории армян и был схвачен. Ночью к нему в камеру вошли несколько армянских офицеров и один в гражданской одежде. Один из офицеров протянул пистолет гражданскому и сказал: «На, возьми, пристрели его. Скажешь потом, что воевал, даже убил одного азербайджанца». Парень взял пистолет, посмотрел на пленного и покачал головой: «Он мне ничего не сделал, зачем я должен в него стрелять? И потом нельзя стрелять в безоружного». И вернул пистолет офицеру. Тот выстрелил вверх головы нашего парня, обозвал гражданского малодушным и трусливым и, смеясь, вместе с другими вышел из комнаты. Наш парень хорошо знает армянский, в детстве много с ними общался, рос с ними вместе. Он сильно испугался, подумав, что они могут вернуться и убить его. Улучив момент, той же ночью он бежал. Мы уже доложили об этом эпизоде начальству и сейчас дело «твоего парня» рассматривается.

То, что рассказал командир части, Шамси-муаллима очень разволновало. Их подопечный оказался нормальным и порядочным парнем. Не сыграла ли здесь судьба моего сына, физически мертвого, но живущего сердцем в другом человеке?

Не переплелись ли судьбы этих троих молодых людей – деревенского парня, армянина и моего сына, – в один узел, который благополучно развязался? Не произведя выстрела, он спас жизнь не только местному жителю, но и собственную душу, свою жизнь. Ибо эту жизнь послана ему свыше. Или же подарок судьбы.

Душа... что мы знаем о ней? Что она представляет собой? Сколько слов сказано, сколько книг написано, сколько исследований проведено. Считается, что ум человека находится в его мозгу, а душа в сердце. Что душа всегда страдает, когда человек поступает вразрез с общечеловеческими ценностями. Неспроста говорят, что это бездушный человек, когда он творит зло, поступает бесчестно и бессовестно. Душу эти люди потеряли или еще хуже – родились бездушными. Эти мысли, потоком пронесившиеся в мозгу Шамси-муаллима, прервал командир части:

– Расскажите о вашем сыне...

– А что рассказывать. Сын как сын. Был вторым ребенком в семье. Хвалить не

буду, теперь куда уже... учился в Москве. Воспитан был в основном моим отцом в традициях, как это сейчас принято говорить, нашего менталитета: в уважении к старшим и человеческому достоинству... Вот и все, что я могу о нем сказать.

«И еще не успел жениться... хоть внук остался бы», – про себя подумал Шамси-муаллим...

– В армии не служил?

– Хотел, но после учебы. Всегда серьезно к этому относился, говорил, что каждый мужчина должен пройти армейскую закалку. «Это, – говорил он, – прорвет и вывернет наружу всю гниль в человеческом характере...»

– Хорошие, достойные слова. Не хочу вас утешать, – после паузы произнес командир части. – Возможно для вас это пустые слова, сколько, наверное, у вас было этих утешителей... А сколько мне приходилось утешать родителей погибших солдат? Не дай Аллах снова начаться боевыми действиями. Сколько будет погибших... не счесть. Присутствие на похоронах командного состава – это не стандартная процедура. Это ад. Лучше мне воевать на передовой, чем находиться на похоронах детей, которым не исполнилось и двадцати лет. Видели бы вы их глаза, лица родителей...

– Я видел. В зеркале. Иногда, когда бреюсь. И когда смотрю в глаза жены...

– Простите. На войне говорят: привыкаешь к смертям. Ерунда это, пустые слова, слова людей, не выдавших мертвых солдат на поле боя. К этому невозможно привыкнуть. Особенно, когда хоронят и опускают тело в могилу. Хоронят не только тело умершего, но и все надежды, которые возлагались на него еще в чреве матери. Хотя еще говорят, что ко всему привыкаешь... Не знаю...

Шамси-муаллиму стало не по себе после этих слов, прозвучавших обыденным тоном, но несущим столько горя. Только сейчас, живший вдали от боевых действий, городской человек почувствовал весь трагизм военной жизни. Жизни на линии фронта. Только сейчас до него дошел истинный смысл безответного высказывания одного из советских вождей – «смерть одного человека – это трагедия, тысячи – статистика». Пусть Аллах сохранит наш народ от подобной статистики. И их народ...

– Можно мне и жене встретиться с этим армянским парнем, хочу посмотреть на него, взглянуть в его глаза, поговорить с ним. Поможете нам?

– Я постараюсь организовать вам эту встречу, хотя это будет очень трудно. У нас существуют свои правила на этот счет.

Связавшись с начальством, объяснив ситуацию, зачем приехавшие из Баку люди хотят встретиться с пленным армянином, он получил добро на эту встречу. Через несколько часов дежурный офицер вызвал их в комендатуру. Их привели в комнату свиданий. Усевшись за стол, они стали ждать. Через некоторое время дверь комнаты отворилась, и вошли два человека. Парень небольшого роста, смуглый, лет двадцати, с бледным лицом, со спущенной поверх брюк рубашкой и второй, сопровождавший его, высокий плотный человек в военной форме.

– У вас час времени на свидание, – произнес военный и вышел из комнаты. Шамси-муаллим посмотрел на парня. Ощувив, что опасаться этих людей не стоит, парень несколько успокоился. Нерешительно присев на табурет, он спросил на русском языке:

– Кто вы? Что вам от меня нужно?

Шамси-муаллим внимательно продолжал смотреть на парня. Парень как парень, таких как он, сотнями видел раньше в Баку и других районах нашей страны. Нос прямой, без горбинки, волосы несколько волнистые, стриженные, глаза черные, взгляд

настороженный, но прямой, не бегающий, не вызывающий и самодовольный, как у многих типичных армян.

– Мы здесь, – тихим голосом проговорил Шамси-муаллим, – чтобы тебе помочь вернуться домой. Твой отец звонил нам. Мы родители того парня, сердце которого тебе пересадили.

Парень вдруг усмехнулся.

– Значит вы здесь для того, чтобы помочь сердцу, а не мне? Я правильно вас понял? – в его голосе проскользнули некоторый сарказм и ожесточение.

– Мы хотим помочь тебе – носителю сердца нашего мальчика. Вы теперь одно целое. Мы... рады, что его сердце прижилось в тебе и помогло тебе выжить.

– И души теперь у тебя две, – вдруг сказала жена Шамси-муаллима.

– Душа у меня одна, армянская, – зло проговорил парень.

– Душа не бывает армянской, азербайджанской, еврейской... Душа бывает только человеческой, – спокойно возразил ему Шамси-муаллим.

Парень как-то сник. Черты лица смягчились, стали озабоченными. Видимо, испытания последний дней ожесточили его.

– Можно мне, сынок, послушать твое сердце? Ведь это последнее живое, что осталось от нашего сына, – умоляюще произнесла Марьям-ханым.

Парень вначале непонимающе уставился на нее, а затем на его глазах проступили слезы. Возможно, он впервые за последние дни почувствовал что-то родное в окружавшем его враждебном мире. Он молча подошел к ней, расстегнул рубашку. Марьям-ханым, не дожидаясь, когда он поднимет майку, прильнула ухом к его груди. В груди достаточно четко и ритмично, несколько учащенно билось сердце. Ее сына сердце... Сердце бьется, а сына нет...

Шамси-муаллим минут через пять с трудом оторвал ее от груди парня. Он смотрел на ее полные слез глаза и думал о том, что «ученые утверждают, что сердце – это просто мышечная масса, насос, перекачивающий кровь по кровеносным сосудам. Но почему, когда хотят подчеркнуть положительные качества человека, говорят сердечный, а когда хотят подчеркнуть его глупость говорят безмозглый? Интересно...». Шамси-муаллим оторвался от своих мыслей и обратился к парню:

– Как тебя зовут? – хотя прекрасно знал это.

– Ашот.

– Хорошее им. Я когда-то в молодости читал книгу армянского писателя, кажется Ананьяна «Пленники Барсова ущелья», – его даже переводили на азербайджанский язык, – и там парня звали Ашот и благодаря ему его друзья выжили, хотя все они внесли лепту в свое спасение... и Шушик, Гагик, Асо и Саркис...

Парень уже с большим интересом и уважением посмотрел на Шамси-муаллима.

– А отца Ашота звали Арам.... Как и моего.

Шамси-муаллим вдруг замер от нахлынувших наваждений молодости. Ведь сколько армян, русских, евреев жили у них во дворе и как они дружно жили... И никому не приходило в голову делить их по национальным признакам. Все мы жили одной дружной семьей. И это было правдой. А потом раскачали... нет, не лодку, а большой океанский лайнер и все превратилось в пух и прах. Все людские взаимоотношения. И процесс этот не ограничился армяно-азербайджанским противостоянием и до сих пор продолжается во всем мире. Впрочем... Не мне судить... Есть народы... Есть государства. Есть правительства.

– Слушай Ашот, – как бы отмахиваясь от прошлого, произнес Шамси-муаллим,

– мы постараемся тебе помочь. Но прошу тебя, подчеркиваю, прошу тебя, больше не появляйся здесь. Это не твоя война и не твоя земля. Я не политик и не собираюсь проводить с тобой политзанятия и учить тебя «что такое хорошо, а что также плохо». Я просто против того, чтобы умирали ребята твоего возраста. И не имеет значения, армянин ты или азербайджанец, или же русский. Жизнь вам дана не для того, чтобы с оружием в руках кидаться друг на друга, закипая взаимной ненавистью. Жизнь дана для другого. Понимай мои слова, как хочешь. И не испытывай больше судьбу. А теперь до свидания, Ашот, даст Аллах, еще свидимся, и с отцом твоим познакомлюсь.

И с этими словами Шамси-муаллим вместе с женой покинули комнату. Чувствовалось, что Марьям-ханым не хотела уходить, хотела еще раз прильнуть к груди Ашота, услышать биение сердца...

Только на улице она не сдержалась и зарыдала тихо, беззвучно уткнувшись в плечо мужа. Посадив жену в машину, Шамси-муаллим отправился к командиру части поблагодарить его за встречу и обсудить, как же в дальнейшем можно помочь парню.

Поднявшись со своего стула и предложив ему присесть, командир части дружелюбно поприветствовал Шамси-муаллима:

– Хочу порадовать вас. Командование решило, особенно после выяснения обстоятельств инцидента с нашим парнем, освободить Ашота и передать его на попечение представителей Красного Креста и ваше обращение здесь сыграло не последнюю роль. Когда я им передал о факте пересаженного сердца, сердце азербайджанца, командование отнеслось к этому серьезно и с пониманием. Один полковник даже пошутил: «Не дадим армянина с нашим сердцем в обиду». Так что вопрос о его освобождении считайте решенным. Уезжайте с миром.

Тепло попрощавшись с командиром части Шамси-муаллим с женой отправились обратно.

По дороге домой каждый думал о своем. Лица у обоих были несколько просветленными. Даже морщинки разгладились. А может быть, просто от свежего горного воздуха?

Впервые за последний год Шамси-муаллим рассказал анекдот про армянское радио. Откуда это пришло ему в голову? Марьям слегка улыбнулась обветренными губами.

Возможно, эта поездка смягчила их душевное состояние?

Придя домой, Марьям-ханым, не раздевшись, сняла с зеркал черные ткани (оставила только в комнате сына).

– Повисели и хватит, – несколько виновато сказала она мужу. – Наш сын жив, он не умер, раз его сердце еще бьется.

Они оба все прекрасно понимали, но это – «живое сердце их сына» – было для них соломинкой, ухватившись за которую, они спасали собственные души, которые находились в плену беспроектных страданий, и послужило выходом из отшельнической жизни.

Зазвонил телефон. Междугородный. Что говорил там Арам Гургенович, Шамси-муаллим не понимал. Он только слышал восторженные и благодарные слова на русском вперемешку с армянским языком.

В эту ночь семья Мамедовых спала спокойно. И вместе. Устали, наверное, с дороги. Кто знает... Аллах всемогущий, все видит и все слышит.

СИЯВУШ МАМЕДЗАДЕ

Назым Хикмет

Я помню дни давние литинститута.
Обретший подобье тепла и уюта,
В турецких застенках изведавший бед,
Пожаловал к нам знаменитый поэт.
Он был воплощением жизни и света.
Являя неровную русскую речь,
Но даже акцент у Назыма Хикмета
Не мог нас от сути и смысла отвлечь,
Он думал о «человечестве»,
Ко всем обращался со словом «брат»,
Он жил измереньями вечности,
Радушью Советов доверчиво рад.
Он говорил откровенно и просто,
Был на слово точен, остер,
О Маяковском в «окнах РОСТ»а,
Обритом наголо: «Был как боксер».
Увидел позднее в последний раз,
Воспевшего свой «атакующий класс».
«...Мне не предстань одиноким таким,
Не стал бы настолько мною любим...»
Читал он стихи артистично, отменно,
Читал про штормящее море – Хазар,
Где щепкой металась лодка «туркмена»,
Горели огнем голубые глаза!
И голос пронзительно взвился до крика
В могучей и бурной стихии стиха,
И Каспий ярился грозно и дико,
Истаяла тихим «пиано» строка...
Нас оглушило море – метафора,
В которой кричали боль и любовь,
И проступала фигура автора,
В чьих жилах билась турецкая кровь...

Фавн и Цирцея

Зарисовка телезрителя

Очередная телепрограмма с интригующей зазывалкой:
«Секрет на энную сумму!»
Главное – материальная подноготная, стимул, интрига.
Ведущая – миловидная,
Умеренно кокетливая, гламурная дама.
Круглый стол, антураж без лишних, отвлекающих предметов.
Гость – уверенный в себе мужчина,
Чье имя известно по пересечениям с именем эстрадной звезды.
Пересечениям былым, кратковременным, но достаточным,
Чтобы вспыхнуть, как бенгальский огонь
от касания зажженной спички.
Но чем прославился гость,
Какой след оставил в эстрадном искусстве,
Какую-такую лепту внес в историю вокального творчества –
Трудно сказать.
Но мужчина импозантен,
С живописной шевелюрой,
Обрамляющей лицо с правильными,
Крупно вылепленными чертами,
И у него вид человека, готового ответить
На любые вопросы дотошной ведущей.
Один из вопросов – что шокировало знаменитую певицу
Во время ее первого пересечения
С тогда незнаменитым гостем,
Привлекшим звезду очарованием молодости?
Оказалось...это были бахилы.
Гость так и сказал, тем самым выдал «секрет»,
Заработав часть энной суммы.
Телеведущая довольна, выудив у собеседника эту эпохальную,
Историческую подробность!
Для наглядности подсобил видеоряд:
Звезда с молодым приглянувшимся человеком.
Ах, ТВ, ТВ,
«Круто, ты попал на Тиви!»
В ходе пикантного диалога
Гость обрастает шлейфом поклонниц,
Но не ореолом сценической славы вокальных шедевров;
Появляется законная жена, симпатичная, с милым младенцем,
И папаша чмокает кроху в искреннем порыве.
Жена с малышом появляется в студии
как подтверждение сказанного,
и, выполнив свою миссию, исчезает.
Снова взгляд гостя устремлен
на ведущую с усталым, ленивым спокойствием:

«Ну, что вы еще спросите?»
Беседа длится, как светская болтовня,
Иногда соскальзывая на фривольные нотки о том,
Что гость не прочь бы иметь интимный контакт с ведущей.
«Я замужем», испуганно возражает она;
«Хотя бы временно», вяло настаивает он;
Тема остается нераскрытой,
И так продолжается шоу,
С материально-оговоренным обеспечением...
Миллионы телезрителей созерцают
гламурную шоуменку и «мачо»
с длинной шевелюрой, чьи заслуги в искусстве короче,
чем копна волос, эффектно обрамляющих
его отвратительно-прекрасное лицо,
как сказал бы Лев Толстой.
Шоу состоялось.
Скучающий обыватель обогатил свое представление
О выдающихся персонах,
Заполняющих тусовочный эфир,
Получив очередную суррогатную порцию информации...

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОЛЕМИКЕ

ЛАЧИН

ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА ЛИТЕРАТУРЫ

Игорю Белисову, потенциальному сказочнику

В 2007-2009 годах мы с Яной Кандовой обсуждали тему отношения к литературе как к религиозному или светскому занятию. Сделали вывод, что разделение неточное – нерелигиозная по духу литература делится на творческую и проституционную. Далее споры пошли о преимуществах и недостатках этих вариантов. В последние годы я выделил четвёртый вариант восприятия литературы – производственный.

Примерно треть соображений, изложенных в данной статье, принадлежит Кандовой. Уже после неё я согласился с некоторыми её выводами, которые раньше оспаривал, что показано ниже. Оценочная характеристика описанных вариантов – совмещенная.

Таким образом, хоть мы и не успели написать статью вместе, частично она соавторская.

В различных странах в различные времена литература уподоблялась (и уподобляется) религии, творчеству, проституции и производству. Все варианты, кроме религии, светского характера. Опишем их и дадим сравнительный анализ.

Религиозный вариант порождён иудаизмом и православием, воспринят исламом, частично викторианской Англией, царил в СССР с тридцатых годов, с примесью производственного варианта. В смягчённом виде это вариант представлен Древней Грецией. В последние годы древнегреческий вариант я называю не религиозным, а религиозно-творческим. Религиозная литературная система окончательно сложилась у греков-христиан.

Существует бог литературы: в России – Пушкин, в исламском регионе – Низами. Бог идеален. Его нельзя критиковать. Вы обязаны его любить, иначе вы подлец или сумасшедший. Вопрос, любите ли вы его, оскорбителен, допуская подлость или сумасшествие вопрошаемого. Его сочинения – священное писание, вроде Библии и Корана в религии. Цитаты из него являются доказательством. Превзойти его невозможно. Сравняться с ним также невозможно, ибо, согласно христианству и исламу, бог един.

Ангелы, святые и «отцы церкви» в литературе идентичны – это «классики, гении, великие». Им также надо поклоняться. Не уважать кого-то из них очень нехорошо, не уважающие большинство или всех – подлецы или сумасшедшие. Включают в их число, канонизируют – как правило, посмертно – только литбогословы и власти (иногда представленные одной группой людей). Равняться со святыми-классиками – большой грех, лишаящий надежды на канонизацию.

Блаженные, «полусвятые» в литературе общепринятого названия не имеют, но иногда называются «полуклассиками». Стать таковым, беатифицированным, можно и при жизни.

Остальные авторы – священники. Известные писатели, признанные – митрополиты, архимандриты. Писатель проходит рукоположение в сан (получение рекомендаций, одобрение знаменитостями, принятие в союз писателей). Иначе, назвавшись писателем, будешь самозванцем, порицаемым и осмеиваемым. Пишущий – раб божий (пушкинский, низаминский), безоговорочно послушен вышестоящим, преклоняется перед святыми (классиками).

Литературе (проповедям) не приличествуют матерщина, вообще грубая лексика, эротика, физиологические детали, мистификации, игра ума забавы ради, игра слов, вообще элемент игры, увлечение красотой стиля, увлекательный сюжет. Слово «остросюжетный» звучит ругательством (Тургенев презрительно называл подобные сочинения «дюмовщиной», от имени Дюма). Серьёзный писатель должен быть скучноватым.

Форма произведения – вынужденный довесок к содержанию, должный быть незаметным, неощутимым. Стиль автора должен быть стандартным и общепонятным; виртуозность, усложнённость – признак «гордыни», «формализма». Та же ситуация во всех искусствах, отчего православные атеисты Стасов и Жданов ругали Врубеля и Шостаковича.

Поэзия считается выше прозы, этак «духовнее». Классики стихотворцы особенно чётко ассоциируются с ангелами.

Главная тема – мораль, точнее, считаемое моральным, правильным в данную эпоху. Эта мораль схожа с православно-исламской, частично с конфуцианской, иногда под маской атеизма и марксизма-ленинизма, как в СССР – культ семьи, порицание гедонизма, роскоши, внебрачного секса, сексменьшинств, развода, нудизма, настороженное отношение к плотской жизни вообще («похоть»), к честолюбию, освящение институтов власти, проповедь послушания вышестоящим, старшим и классикам (святым), безудержное восхваление бога Пушкина-Низами, коему приписывается всё хорошее в нас и в жизни («Пушкин – это наше всё»). Положительные герои асексуальны, де-факто (иногда и де-юре) монахи: отец Пимен, Тарас Бульба сотоварищи, Акакий Акакиевич, Чичиков (планировалось его нравственное возрождение), капитан Копейкин, Базаров, Раскольников (падший, но ангел), бесплотный дух Соня Мармеладова, князь Мышкин, отец Тихон, Алёша и Иван Карамазовы, Зосима, Платон Каратаев, отец Сергей, Рахметов, Вера Павловна, Корчагин, Штирлиц с Плейшнером и пастором Шлагом, Шерлок Холмс, патер Браун. Словом, «отцы пустынноики и жёны непорочны» (Пушкин).

Писать (проповедовать) нужно с любовью к людям, но внушать им смирение и чувство собственной ничтожности перед лицом автора-бога и ангелов (классиков), изобличать «гордыню». Человек – раб божий, пылинка, былинка, погрязшая во грехе. Писатель-поп не смеет оспаривать иерархию, состав классиков, иначе ославится еретиком. Собственного мнения не имеет, поддакивая начальству. О себе говорит самоуничижительным тоном, дабы избегнуть подозрений в «гордыне», честолюбии (типичнейший образчик – «Избранные места из переписки с друзьями» Гоголя). Постоянно распинается перед лицом классиков и особенно Пушкина-Низами, с религиозной терминологией: «святые имена», «священный», «святотатственный», «кощунство», «словоблудие», «греховность». За непослушание (ересь) лишается сана и кафедры для проповедей (возможности публиковаться и преподавать). Впрочем, непослушание редко, писатели-священники – люди смиренные, вымуштрованные семинарией (литинститутом, филфаком).

Смертный грех – богохульство, «пушкинохульство», борьба или равнение себя с ним. Это сатанизм или безумие. Грешник предаётся анафеме, отлучению от церкви (литературы). Считается, что в литературе его уже нет. Проклятый обращается в лермонтовского «Пророка». Ортодоксы, вещающие от имени Пушкина-Низами, изображают «Пророка» пушкинского.

Филология и литературная критика становятся богословием, имитируя науку. Об авторе-боге пишутся только панегирики. Священное писание (сочинения бога) рассматривается только для восхваления, обнаружения новых достоинств и установления зависимости от него всех писателей. Биографии «великих» становятся житиями святых. Направление мысли литбогослова задано канонами – священным писанием и сочинениями святых.

В каждом языке свой бог. Считающий литературу религией часто обожествляет самых знаменитых классиков других языков, по одному на язык. Критиковать Сервантеса, Гёте или Шекспира в СССР было труднее, чем на Западе: мы их почитали богами, они – людьми.

Итак, литература – церковь, с богом, синклитом ангелов и раболепным духовенством, поющим псалмы. Читатели-прихожане, надзираемы батюшкой, молятся Пушкину-Низами и на иконостас (классикам); науськанные священниками, высмеивают грешников и травят богоотступников, к вящей славе господней.

Религиозное восприятие литературы уживается с атеизмом (примером служит Совет-

ский Союз) – многие атеисты бессознательно следуют религиозным нормам поведения. Но даже глубоко религиозный католик или протестант к литературе так не относится, ибо разграничивает литературу и религию. Впрочем, атеиста легче отвадить от религиозной психологии – указание на эту религиозность атеиста смущает.

У древних религиозное восприятие литературы смягчал политеизм. Монотеизм куда жёстче, авторитарнее (он централизован), и литературу окончательно обратили в религию христиане. Наконец, в отличие от язычников, иудаизм и христианство имеют «священный» текст, «божьи скрижали». И в литературу окончательно вошло религиозное понятие о непогрешимом тексте, объекте поклонения. Литература стала светской формой религиозного сознания. Укрепил эту традицию ислам – чистое моно, особо авторитарное, апофеоз средиземноморского монотеизма. Православие, и особенно ислам, воспринимают религией все виды деятельности – политические, философские и культурные.

«Апофеоз Гомера» Энгра частично отражает дух религиозной литсистемы. Классицизм ей потворствует – картина неслучайно написана классицистом, и неслучайно на ней изображён другой знаменитый классицист, Пуссен, и именно последний властно указывает зрителю на Гомера. Герой полотна – бог древнегреческой литературы. Монотеистами разжалован в ангелы, точнее, архангелы, главные ангелы (как-никак, бывший бог). На этой картине религиозная система облагорожена – классицизм порождён латино-романским регионом, и в религиозную ортодоксию не впал. Фактически это система религиозно-творческая, как и в древней Греции, благодаря политеизму. Закостенелость, застылость религиозно-литературной системы отражена в византийских мозаиках, где раболепные придворные окружают императоров Юстиниана и Феодору (читай: Пушкина и Низами). Литература православно-мусульманского региона разительно схожа не только с церковью, но и с византийско-исламским придворным двором.

Восприятие литературы как религии нанесло ей страшный удар, испоганило и отравило творчество и психологию тысяч авторов и миллионов читателей.

При религиозной системе неважно, что написано, важно, кем. Тексты, в том числе «священный», неважны, важна подпись под ними. Авторы делятся на шесть-семь групп: автор-бог, святые-гении, блаженные-полуклассики, митрополиты, рядовые попы, церковный служака, наконец, возомнивший себя попом прихожанин. Религиозник помещает вас в одну из трёх низших групп. В остальных он не мыслит вас по определению, «этого не может быть, потому что не может быть никогда». В какую именно группу вы попадёте, зависит от вашей репутации и... вашего мнения о себе. Чем выше вы себя ставите, тем больше вас поносят. Вас могут считать хорошим писателем, но узнав, что вы равняетесь со святыми, назовут пустышкой, ваши сочинения воспримут иначе. Для религиозника человек, считающий себя равным «гениям», дурак. Почему? Потому что дурак. Звучит абсурдно, но для религиозника это элементарная логика – его мозг болен, лишён логики. У считающего литературу религией склад ума теологический, не научный. Религиозник заранее, до прочтения, определяет ваше место в церковной иерархии, и оно очень низкое. Ибо вы раб божий, или хуже – вероотступник, грешник. Подняться выше нельзя, ибо господь велик, можно слететь ещё ниже, или подвергнуться анафеме.

«Ни один гений не считал себя таковым» – «афоризм» тупого религиозника. До двадцатого века слово «гений» означало музу мужского рода, себя так не называли. Во-вторых, считающий себя лучшим или одним из лучших в какой-то области, говоря современным языком, считает себя гением – выходит, Гораций, Низами, Данте, Насими, Пушкин (что памятник себе прижизненный воздвиг вслед за Горацием), Ницше, Джойс, Микеланджело, Эль Греко, Гоген, Врубель и Скрябин не гениальны. Кто тогда вообще гениален?

Религиозник не видит текста – ни пушкинского, ни заборного. Каждый текст вставлен на какой-то уровень иерархии, а его содержание, текст сам по себе вообще не важен. Религиозник неспособен воспринимать текст, видя и слыша не читаемое и декламируемое, а имя автора. Мало кто читал «Евгения Онегина»: читали священный текст, не литературу. Почти никто не уважал этот текст как литературу, религиозник не изучает его, он верит.

Если провести сравнительный анализ своих сочинений с классикой, религиозник на смешливо спросит: «а зачем сравнивать?» Он заранее решил, кто лучше, не сравнивая.

Сравнивать он не будет, ибо результаты сравнения могут поколебать религиозную иерархию, царящую в его голове. Он настолько глуп, что не скрывает своей предвзятости, говорит «не надо сравнивать», не подозревая, что простодушно расписался в своей абсолютной некомпетентности.

Верующий вообще не желает сравнения «бога» и «великих» со «смертными». Он боится разума, зная или чувствуя – разум колеблет веру. Сравнивающего высмеивают, сказав на смешливо: «конечно! ты гений!», или отвернувшись с презрительной улыбкой.

Православно-исламский регион (в частности, СССР) породил множество людей, владеющих рядом языков, прочитавших тысячи книг, помнящих наизусть сотни страниц, пламенно любящих многих писателей – и при этом абсолютно не разбирающихся в литературе, в упор не видящих текста. Мысль о священности текста парадоксальным образом привела к тому, что текст не важен; важно только, кто автор.

Волошин это чувствовал, пища: Пушкина и Лермонтова нужно не открывать десятки или сотню лет, потом увидеть свежими глазами, что написано. Но дело не в том, во сколько лет сделать перерыв, а в том, чтобы перестать быть верующими от литературы, литприхожанами. Ещё уточнение: Пушкина и Низами прочесть объективными глазами гораздо труднее, чем других классиков православно-исламского региона.

Богослов или священник иногда умно рассуждает о частных вопросах. Со знанием дела рассказывает нечто, нам неизвестное. Проводит сравнительный анализ одного сочинения «бога» с другим. Аргументированно разъясняет, почему некий Иван пишет лучше некоего Петра. Но не способен – и не хочет – сравнить «бога» и «великих» с остальными. Он служит церковной иерархии, подгоняя под неё реальность. Разум он использует, если это не вредит иерархии, вере, или, в данном случае, служит ей на пользу. Но разум в целом, разум независимый, ему опасен. Да и для всех верующих – разум признак «гордыни», нечто опасное, «от лукавого».

Знаменитые пушкинисты – Цявловский, Модзалевский, Тынянов, Благой – не учёные, а богословы, вроде Григория Назианзина и Фомы Аквинского. Биографии Пушкина и Низами – агиография, не наука. Гуманитарные науки и вузы в православно-исламском регионе не в чести, подменены богословием, духовной академией и семинарией. Этот регион породил в пять-десять раз меньше гуманитарно-научной литературы, чем принято считать.

«Что позволено Юпитеру, не позволено быку» – девиз гуманитарного богословия. Неважно, что написал и делал в жизни Пушкин-Низами, всё равно это хорошо; если так поступает другой – плохо. Религиозник может рассуждать очень умно, разбирая и ваше сочинение, и Пушкина. Но поменяйся местами ваша подпись и пушкинская, он заговорит совершенно иначе. Потому рассуждения верующего не стоят ровным счётом ничего.

То же и в моральном аспекте: поступок Пушкина, совершённый вами, может считаться подлым, но Пушкин подлецом не будет. Заложил эту аморальную традицию сам Пушкин, пища, что если великий человек низок, мерзок, то всё же не так, как мы. Расистская мысль – и её восторженно повторяют религиозники.

Все мнимые достоинства религиозно-литературной системы на поверку оказываются злом.

Об отношении к тексту как к чему-то священному уже говорилось – на практике текст не важен, он поставлен на какой-то уровень церковной иерархии зависимо от автора, а не содржания.

Средиземноморский монотеизм связывают с уважением к тексту, книге. Это миф. Уважение к книге культивировалось язычниками. Уровня грамотности Римской империи христианский Запад достиг лишь к началу XIX века, православный регион ещё позже, благодаря коммунистам, мусульмане – ещё позже. О каком уважении к книге говорится, если самых невежественных людей в истории породило именно средневековье, золотое время для христианско-мусульманского духовенства? Монотеизм принёс идею одной священной Книги, пред коей всё остальное – ерунда или опасное вольнодумие. В исламской традиции монотеисты так и называются – «люди книги», «Писания», «ахль ал-Китаб». Именно в единственном числе. А интеллигенты, начиная с язычников – люди книг. Цель религиозника – обратить человечество в стадо, молящееся на священный текст (будь то Библия-Коран или Низами-Пушкин). Для этого

надо отвратить людей от сочинительства. Как говорили мусульмане, сжигая богатейшие библиотеки мира: «если эти книги повторяют Коран, они излишни; если нет – вредны». У христиан эти настроения смягчены, но те же – не забудем, что и христиане, придя к власти, начали с сожжения книг. В книжном аутодафе принято винить только нацистов, но с этого начали все монотеисты. Не случайно Лев Толстой обмолвился в разговоре с библиотекарем Фёдоровым: взять бы все книги и сжечь. Это слова литсвященника, «человека книги», а не книг, как интеллигента Фёдорова. Религиозника раздражает умножение числа сочинений, ему надобно одно, любимое, коему все поклонились бы. Самое фанатичное поклонение одной избранной книге демонстрируют мусульмане (Корану) – ну так самым нечитающим регионом является именно исламский мир. Восточные славяне стали одним из самых читающих народов благодаря советскому строю (а теперь перестают им быть). Франция уже семь-восемь веков входит в число наиболее пишущих и читающих стран, хотя религией литературу никогда не воспринимала.

Уважение к писателю тоже миф. Религиозно-литературная система однозначно выигрышна только для автора-бога. Радоваться за него не стоит, ибо он бессовестно идеализируется как писатель и человек, притом в ущерб остальным авторам. Обожествление Пушкина привело к недооценке всей русской культуры, искажению её истории в угоду одной личности. Все достоинства Лермонтова как писателя и человека приписаны «богу» (смотрите «Евангелие от Иуды», Л.); основанный Цветаевым музей называется пушкинским, и памятник перед музеем стоит Пушкину, хотя никакого касательства к музею он не имел; его обычные рисунки включались в руководства по рисованию; стихи о няне включали в антологии стихов, посвящённых матери (нужных у него нет); рассказы называются повестями; вольные переводы подаются оригинальными сочинениями; псевдочуждые делали карьеру, пища о его однокашниках, предках, любовницах и дуре-жене. Обладатели учёных степеней написали о нём горы галиматии, постыдной для школьника: осенний сезон благоприятен для поэзии, в двадцать пять лет он был автором «Евгения Онегина», Николай I остался в истории благодаря ему, русская культура стала русской благодаря ему же, русский мужчина научился уважать и любить женщину благодаря его лирике *ets*. Уже в девяностых один писатель, Третьяков, так и брякнул: «Не любить Пушкина – всё равно что не любить Родину». Словом, как шутила Яна Кандова, «Прошла зима, настало лето – / Спасибо Пушкину за это!» Пища этот текст, читаю постсоветскую статью кандидата филологии С. Карпухина из Самары «Сколько слов в русском языке?» Автор пишет, что словарный запас Пушкина в двадцать четыре тысячи слов – непревзойдённая вершина то ли русской литературы, то ли мировой (между тем у Горького тридцать две тысячи слов, у Ленина тридцать семь тысяч, а у Пушкина, кстати, двадцать одна тысяча). Беру другую статью, 2009-2011 годов, Л. Н. Пороховник, «Сколько слов в русском языке и сколько слов в английском языке?» Вновь читаю, что двадцать четыре тысячи слов Пушкина (опять дутая цифра) – рекорд в мировой истории. Между тем в «Улиссе» Джойса около тридцати тысяч слов – в одном романе в семьсот пятьдесят страниц. Столь же уродливая ситуация возникла у мусульман в связи с Низами (к тому же писавшего заметно хуже Пушкина).

Беда не только в том, что некто идеализируется, беда, что ради этого унижают других. Русских мужчин делают дикарями, что без Пушкина и влюбляться бы не умели, а писателей и философов идиотами: многие из них написали десятки томов на всевозможные темы, но якобы их словари беднее двадцати четырёх тысяч слов. Это тактика всех священников и богословов: принижать человека для вящего величия бога. В ничтожном окружении легче выказать величие.

Выигрывают и канонизированные авторы: перед ними искусственно принижаются остальные. Большинство писателей – шестёрки Системы, рабы божьи, слуги начальства, горящие о себе, опустив очи долу, и о боге со святыми – воздымая очи горе. Содержание их произведений неважно, они ничтожны изначально, как заштатный дячок-мулла ничтожен перед Библией-Кораном и опусами «отцов церкви». Они воспитаны в дuche чинопочитания: «Не должно сметь своё нам мнение иметь». А дорвавшись до известности, молчалины сами внушают пастве: не должно сметь своё вам мнение иметь. Любовь к богу, уважение к святым-классикам становятся обязателькой, признаком воцерковленности, легитимности священников

и прихожан. Ещё подходящая фраза для религиозников из «Горя от ума»: «Что скажет княгиня Марья Алексевна!» Главное писателю-попу и прихожанину – что скажет начальство, кого назначит классиком, а кого отлучит от церкви.

Ещё миф – об «ответственности за слово», мол, религиозники внушают чувство ответственности, учат правдивости, прививают скромность, дабы начинающие больше работали над собой или не писали вообще, коли плохо получается (а плохо ли получается, решать, разумеется, начальству). Это мнимое достоинство тоже претворилось в зло. Чувство ответственности выражается в том, что посягнувшего на «священных коров» спрашивают: «имеете ли вы право?» Спрашивается: справку надо получить, что имею право? Где выдаётся? Религиозники недовольно молчат, и видно, что им действительно хочется выдавать справки. Ответственность за слово сводится к тому, чтобы не сомневаться в церковной иерархии.

Религиозная (как правило, православно-исламская) литсистема обязует быть моралистом, внушает «чувство ответственности». Но эта литсистема наговорила глупостей и подлостей ничуть не меньше западных писателей. Религиозное представление об ответственности за слово не помешало Низами пропагандировать чадру и исламскую оккупацию, Карамзину – идеализировать самодержавие, Жуковскому – править Пушкина, Пушкину – считать вырезание поляков русским правительством внутренним делом славян и пенять Мицкевичу за сочувствие своему народу, Тютчеву – писать в том же духе, Гоголю – воспевать запорожцев, сжигающих польских детей и смеющихся над тонущими евреями, Достоевскому – призывать взять Константинополь, не считаясь ни с какими жертвами, Льву Толстому – изображать Наполеона безвольной марионеткой, а секс сатанистским занятием, Гумилёву – романтизировать первую мировую, Мережковскому – сравнивать Муссолини с Данте и Гитлера с Жанной д'Арк, Бунину – облить грязью русский народ времён Гражданской войны, Даниилу Андрееву и Ильину – считать Гитлера гуманнее Сталина, тому же Д. Андрееву – предлагать сделать всех животных дрессированными рабами на заводах и фабриках, Солженицыну – навесить на большевиков расстрел полусотни миллионов невинных людей, и половине писателей – радоваться распаду Союза, что означало смерть, рабство и нищету десятков миллионов людей. Чем, с этической точки зрения, эти авторы лучше Флобера и Анри Ренье в их башнях из слоновой кости или геонистов Марциала и Мопассана?

Более того – религиозная литсистема, как и вообще религия, аморальна. Библейский бог спасает младенца Христа, но его не заботит гибель остальных новорожденных, ему это неинтересно. Этот имморализм, доходящий до прямой подлости, присущ и литературным религиозникам. Скажите, что Пушкин поступил некрасиво, трубя о победе над Керн, и они возразят: победы не было. Но это ещё хуже, значит, он её оклеветал, этак он выходит сволочью (об этом хорошо писал Вересаев в «Жизни Пушкина»). Религиозника это не беспокоит – автор-бог неподсуден. Совести у верующего не больше, чем у того же библейского бога.

Комично, что писателей призывает к правдивости литсистема, изначально построенная на лжи, двойных стандартах, на пресечении голоса разума. Именно в религиозной литсистеме писатель вынужден постоянно лгать, чтобы выжить, приbedняться, распинаясь пред «великими». Кандова формулировала это так: в религиозной литсистеме нельзя откровенно говорить, что ты думаешь о своих сочинениях, что ты думаешь о канонизированных сочинениях, и третье, главное – что ты думаешь о себе в сравнении с классиками. Александр Тарасов рассказывает, как он, марксист, боролся с брежневским правительством: «Очень легко и быстро всякий нормальный и развитый человек приходил к выводу, что существует противоречие между заявленной теорией и реальной общественной практикой. Дальше уже надо было делать вид, что ты этого противоречия не видишь, и больше на эту тему не думать, либо переходить к какой-то циничной позиции, встраиваться в Систему, исходя из того, что она насквозь лживая, либо человек уже становился, как минимум, пассивным оппозиционером» (интервью Всеволоду Сергееву). То же происходит в религиозно-литературном мире: очень легко и быстро нормальный и развитый человек делает вывод, что существуют двойные стандарты в оценивании писателей, а литературная иерархия искусственно навязывается литбогословами и совершенно условна, нелогична. Можно делать вид, что не заметил этого, и перестать об этом думать, либо стать циником, встраиваясь в Систему, либо, как минимум, пассивным оппози-

ционером.

Начинающим писать внушается, что этого достоин не каждый, писать нужно поменьше, много зарабатывать этим – грех или почти грех. Популярен вопрос: имеете ли вы право писать? Хорошим тоном считается иронизировать: «сейчас все пишут». Но кто будет решать, кто имеет право писать? Религиозники вновь клонят к тому, чтобы выдавать справки. Подразумевается, чтобы выдавать их достойны именно религиозники.

Скажут: человека нужно воспитывать так, чтоб он сам задавался вопросом, стоит ли ему писать. Это опасная для литературы чушь. При подобном воспитании руки опускаются у не худших авторов, а менее самоуверенных – но это разные люди. В результате пишут меньше, но не лучше. Меньше становится как плохих авторов, так и хороших. Литература беднеет.

Лев Толстой отлучён от церкви, но по иронии судьбы именно его конца желают религиозники всем писателям – отречься от своих сочинений и «уйти из дома», из интеллигенции, обратившись в простого «мужика», раба божьего. Особенно жаждут этого священники в прямом смысле слова.

Это и есть конечная цель религиозной системы – свести литературу на нет. Для верующего человека творчество, фантазирование – состязание с богом, процесс письма – соревнование со священным текстом, Библией-Кораном или Пушкиным-Низами. Человек – тварь дрожащая, человечество – паства, стадо, ведомое пастухами, Моисеем, Христом и Мухаммадом (или Пушкиным с Низами). Пишущему исподволь внушается: писать, творить – грех, «тварь дрожащая» права не имеет. А если вы писать не бросили и пробились в классики, вас используют в своих целях – идеализировав, дав прочим вашим авторитетом, вопрошая с подковыркой: имеете ли право дерзать после великого?

В Римской империи христианство распространялось невежественными людьми, враждебными культуре, в которой они видели «суету сует», мишуру. Образованность, красноречивость, «мудрствование» их раздражали, будучи присущи их противникам. Грубость лексикона, косноязычность они ставили себе в заслугу, как признак честности, искренности. Ислам распространяли ещё более дикие люди (начиная с его неграмотного основателя). Это настроение поныне бытует в религиозной литсистеме (среди многих атеистов тоже) православно-исламского региона – писатель должен писать поменьше, попроще, не блистать красноречием, быть поскромнее, меньше зарабатывать, стыдится своего занятия; словом, он не должен быть вообще.

Только в религиозной литсистеме можно столкнуться с дикими случаями, когда писателя критикуют за то, что он слишком хорошо пишет, прямо требуют быть поплоче. Вот отзыв о моём сочинении члена жюри одного литконкурса: «Язык рассказа слишком сложный и витиеватый для художественной литературы». Для художественной. Пиша эту статью, следил за дискуссией писателя и теоретика литературы Игоря Белисова с литератором православной ориентации. Что вы так красиво говорите, пенял тот Белисову, проще давайте! Пришлось вмешаться и напомнить, что писатель на то и писатель, чтоб красиво говорить...

Любой человек признает идиотом спортивного судью, ругающего боксёра за силу и быстроту ударов. Но религиозники идиотами себя не считают.

Религиозник от литературы может считать себя преемником классиков древности. Может не верить в бога, считать себя свободным от Библии с Кораном. Но выдаёт себя с головой, говоря о литературе. Родословную свою он ведёт не от Эсхила и Иплатии, а от дикарей раннего монотеизма, сжёгших большую часть Эсхила и Софокла, растерзавших Иплатию, Абу Афака и Асму – за «грешную» красоту словес, за любомудрие, что «от лукавого».

«От страшной жажды песнопенья / Пускай, творец, освобожусь, / Тогда на тесный путь спасенья / К тебе я снова обращусь» – из стихотворения следует, что Лермонтов «освободиться» не намерен. Религиозник хочет, чтобы автор «освободился» и поклонился богу, будь то небесному или автору-богу.

Религиозное восприятие литературы сделало словесность мусульман самой бесталанной и заштампованной в мире. Держало русскую литературу в зачаточной форме до восемнадцатого века, пока на Россию не дохнуло Западом. На полвека предало забвению Серебряный век, почти полностью освободившийся от религиозной психологии, давший за краткую свою

историю половину русских классиков, взамен кормя читателя переизданиями «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и лицейских стихов Пушкина. Привело к недооценке, извращению или полубабению лучших представителей своего же, православно-исламского региона – Хагани, Насими, Лермонтова, Белого. Ни один классик в остальном мире не подвергался столь лютой казни, как Насими, и столь целенаправленной травле и принижению, как Лермонтов. Религиозники опозорили левое, революционное движение, пища под видом коммунистов в прощеском стиле, внушая людям, что советский писатель должен быть этаким Демьяном Бедным или Твардовским, как будто Белый, Кортасар, Карпентьер и Саромаго не были левыми. Литсвещенники советского времени, на пару с чиновничеством, внушали людям, что коммунист – монах в миру, бесполой, асексуальный, нечто постное, унылое, и отвратили от левого движения большинство молодёжи.

Религиозная литсистема губит литературную критику: критик говорит не столько о самой литературе – стиле, композиции, приёмах повествования – сколько о характере персонажей, что они делали плохо и что хорошо, в чём прав Онегин, в чём – Печорин. Эстетика подменяется этикой (как правило, библейско-коранической).

Религиозная литсистема настолько тоталитарна, что следит даже за голосом, интонацией говорящего о литературе. Имена классиков, особенно автора-бога, нужно произносить с лакейской ноткой в голосе, раболепно. Слыша свободный голос, религиозник хмурится. Войдя в литературный мир, я тут же заметил, что настораживаю собеседников манерой просто, естественно произносить канонизированные имена. Собеседники мрачнели. Они и сами не знали, что им не нравится, знал я – им не нравилось, что перед ними свободный человек, а не воцерковленный лакей.

Религиозная литсистема – единственная, использующая репрессивный аппарат. Инакомыслящий выставляется безнравственным, преступником, считается нормальным препятствовать его публикациям. Религиозная литсистема – единственная, построенная на лжи. Раздувается миф о любви народа к автору-богу; литературная иерархия выставляется народной, хотя его мнения никто не спрашивает.

Религиозная психология, в частности, литературная, настолько ядовита, заразительна и живуча, что восстающие против обычно остаются её представителями. Восставший – иноверец, то есть тоже верующий. Оппозиция создаёт свою церковь, и ведётся борьба между церквами. Этим кончили Лев Толстой и большинство советских диссидентов, будь то Горенштейн или тупые шестидесятники. (Ахматова точно охарактеризовала Достоевского и Толстого как ересиархов). Бунтовщик уподобляется протопопу Аввакуму и боярыне Морозовой: таким же мракобесам, что их гонители.

Восприятие литературы как творчества – точнее, синтеза искусства, философии и науки (гуманитарных и общественных дисциплин) – зародилось в Римской империи. Латиняне, переняв греческую культуру, к началу нашей эры религиозное восприятие литературы сменили светским. Им наследовали католическая Европа и Латинская Америка. Творческая литература проявляется и в протестантском регионе, но заметно меньше. Была популярна в России Серебряного века (как отмечал Анненский, многие сочинения того времени напоминают прекрасный перевод с западных языков), к тридцатым годам вытеснена религиозниками.

Писатель – сказитель, сказочник, артист. (Отсюда средневековые менестрели и трубадуры). Временами философ, учёный, но прежде всего – человек искусства, артист, подобно композитору, музыканту или актёру. Можно быть нравоучителем, проповедником, но первоочередно нужно быть занимательным, интересным. «Все жанры хороши, кроме скучного», – сказано Вольтером, представителем творческой системы. Философия и наука в литературе не обязательны (хотя это дополнительное достоинство), но обязательен элемент искусства, иначе это плохая литература.

Фундамент литературы – не «священные» писания, а фольклор, сказки. Литература отличается от них усложнённой содержанием и формы. Можно говорить о «писателе-арти-

сте», хотя правомочен и термин «писатель-сказочник». При религиозном варианте литература – суррогат «священных» текстов, при варианте творческом (латино-романском) литература – шаг вперед.

Остросюжетность, игра ума, игра слов, увлечение красотой формы – однозначные достоинства, артистизм, а писатель и есть артист, художник слова, создатель художественной литературы. Вообще в творческой литературе силён элемент игры (отсюда множество мистификаций). Самые сложные, изысканные литературные формы порождены латинянами – канцона, сонет итальянской формы, веннок итальянских сонетов, сонет-акrostих, терцины, большая секстина, триолет, рондо, поэмы и пьесы в сонетах. Эта тенденция прослеживалась ещё у римлян, начиная с Катуллы, если не раньше. Форма и содержание одинаково важны. (Флобер так вообще считал, что это одно и то же). Наибольшую заботу о стиле проявляет творческая литература. «Стиль – это человек» (Флобер). Самая чеканная форма в русской классике дана Серебряным веком в лице Брюсова и Волошина, когда романский вариант литературы временно обосновался в России; большинство сложных строф русской поэзии – того же периода.

Хотя писатель-артист должен быть интересен, но не обязательно массовому читателю, читатель может быть элитарный, главное – не быть бубнящим проповедником, скучным. Крайне сложный, элитарный стиль не осуждается, это, скорее, достоинство. Человек творческий, не будучи священником или проституткой, не обязан оставаться в рамках «простоты», простого стиля, понятного обывателю. Наиболее сложные для восприятия сочинения порождены романским миром – сонеты Гонгоры, «Улисс», «В поисках утраченного времени», французский экспериментальный роман, а «Петербург» и «Москва» написаны представителем Серебряного века.

Также не порицаются плодовитость и большие гонорары, хотя не являются обязательными признаками классика, великого мастера. Если сочинения автора сильны, продуктивность однозначно хороша: больше – лучше. Ситуация та же, что со всей творческой интеллигенцией, будь то композитор, архитектор или балерина. Самых плодовитых классиков дал католический мир – Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Кальдерон, Вольтер, Бальзак. Самых плодовитых русских классиков, Сологуба и Бальмонта, выдвинул Серебряный век.

Литература – не храм с иконостасом, попами и прихожанами, а театр или концертный зал с артистами и публикой. Публика не молится, а кричит «браво!», «бис!», или освистывает и забрасывает тухлыми яйцами. Классика весьма уважают, он «маэстро», мэтр, но остаётся человеком; соревнование с ним, сравнительный анализ не возбранены: он не бог или ангел, а один из нас. Сторонники творческой литсистемы, питая к знаменитостям уважение, восторг в какой угодно степени, не становятся «рабами божьими», они свободные люди: лакейских ноток в их голосе нет. «Бичевать нужно классиков чаще, / Но критикуя, любить, оберегать от толпы» (Л., «Rictus», LXXXIV). Сказано это от лица представителей творческой литературы.

Писатель не обязан самоуничижаться, а будучи популярным, можно демонстрировать творческую гордость и противопоставляться классикам. Данте пишет, что в загробном мире был принят на равных в круг великих умов, Клейст заявлял о своей способности превзойти Эсхила и Шекспира, Ницше считал величайшей книгой «Заратустру», Джойс – «Поминки по Финнегансу», ставя на второе место своего же «Улисса». Между тем Белого, писавшего о себе куда скромнее в предисловии к «Маскам», выставили в литературных кругах почти преступником, и православный атеист Горький в письмах разносил его как самонадеянного наглеца. В творческой литсистеме даже малоизвестный автор, ведя себя так же, хоть и сталкивается с непониманием, критикой, но преступным, постыдным его поведение не считается. Поклонники писателя-артиста не обожествят его, как то сделано с Пушкиным и Низами. Но вот парадокс – именно для латинян каждый писатель частично бог, ведь он творец, и для латинянина это не грех, только повод для гордости. Писатель – не раб божий, молящийся Пушкину-Низами, он сам – бог, имеющий свою нишу в пантеоне богов. Творческая литсистема – единственная, где писатель никогда не теряет гордости. Писатель-священник, чтобы было, чем гордиться, должен угодить начальству, писатель-проститутка – заработать денег, писатель-артист гордится самим своим занятием. Творческую личность можно унизить только в глазах общества, но не в её

собственных.

Моральный облик классиков не обеляют, открыто говорится об их недостатках. Однако их пороки не только не скрываются, но и не обеляются – в творческой литсистеме нет места автору-богу, коему всё позволено.

Изречения классиков не становятся догмой, но... только писатель-артист им и следует. Религиозник, по принципу «позволенное Юпитеру не позволено быку», советы классиков считает их прерогативой, претворение их принципов в жизнь – дерзостью, «гордыней». Стихам Пушкина, утверждающим право автора презреть публику, занимаясь исключительно самосудом («Ты им доволен ли, взыскательный художник? / Доволен? Так пускай толпа его бранит»), этому принципу следует только творческая литература, религиозник считает это привилегией Пушкина. «Поэзия – езда в незнаемое» только для творческого человека, религиознику незнаемое претит. (При этом он с чувством декламирует данную строку – ведь Маяковский канонизирован). Автор не должен ссылаться на них, ибо он заведомо ничтожен. Это закон религиозной психологии – особенности бога, встреченные в ком-то, искореняются, преследуются. Евреям до двадцатого века не легчало оттого, что Иисус тоже был евреем. Всё лучшее из религиозных талмудов используют только атеисты. Никогда люди не почитали Библию так, как в средневековье, но евангельским принципам оно, это время, вовсе не следовало. К ним ближе большевики – так именно их и ненавидят попы.

Писатель-артист разбирается в искусствах больше остальных пишущих (он и сам, в первую очередь, – человек искусства). Это видно по его сочинениям, где часто обсуждаются музыка, изобразительные искусства и архитектура; среди персонажей множество творческой интеллигенции (в частности, и самих писателей). Литсвященник, если и пишет об искусстве, то не обнаруживает специальных познаний, речь идёт только о морали, вспомним «Портрет» Гоголя или «Слепого музыканта» Короленко. Пушкинский Моцарт перед исполнением своего сочинения поясняет Сальери, что нужно представлять себе во время игры, что обнаруживает полное невежество Пушкина касаясь музыки. Но «Жана Кристофа», «Доктора Фаустуса» или «Концерт Барокко» могли написать только писатели-артисты. На композицию их сочинений, отчасти даже на стилистику, влияют симфоническая музыка и архитектура. О пользе этого хорошо говорил Карлентьер (кстати, знаток архитектуры и крупный музыковед): «Ошибка многих писателей в том, что они замыкаются в мире белого листа, не могут выйти из-под власти написанного. Познания писателя в области других искусств полезны в высшей степени. [...] Многим писателям недостаёт нужных знаний в области музыкальной композиции, хотя по своей логике, по способу определять порядок построения музыкальной формы, порядок звукосочетаний, чередования частей и разделов произведения музыкальная композиция во многом связана со структурой литературного сочинения. Основываясь на этом, в повести «Погоня» я попытался осуществить в прозе нечто, что назвал бы музыкальной формой – соната. Раздумья над симфонией (её структурными концепциями), над определённой музыкальной драмой, удачно построенной, помогают писателю представить структуру будущего повествования...» Да, это не Пушкин с Гоголем, восторгавшиеся гламурным Брюлловым... Только раз, в конце жизни, об этом задумался Лев Толстой, воскликнув, слушая Шопена: «Вот как надо рассказы писать!» Даже такое минутное озарение редко в религиозной литсистеме.

Писатель-артист способен и на отдельные труды об искусстве на уровне искусствоведа, подобно Бодлеру, Теофилю Готье или Ортеге-и-Гассету. Русская литература дала такого писателя в Серебряный век – Волошина (кстати, писавшего акварели).

Писатель-артист сильнее других и в филологии, часто пишет как стиховед или теоретик литературы. Причина проста – именно писатель-артист любит литературу как таковую, а не как проповедник или ради одних гонораров. Среди русских классиков все крупные стиховеды и теоретики – представители Серебряного века: Анненский, Брюсов, Белый, Вячеслав Иванов. Большинство новых технических приёмов литературы и эстетических манифестов также изобретаются и пишутся писателями-артистами, остальными только заимствуясь (да и то как-то вяло).

Писатель-артист находится между Сциллой и Харибдой, двумя крайностями. Он может иметь отдельные черты священника (классицисты), или писателя-проститутки, пишущего на

потребу публике. Однако обе психологии – священника и проститутки – сглажены, смягчены, не меняют его характера в целом. Уклоняясь временами в ту или иную сторону, он остаётся артистом, человеком творческим.

Как религиозное восприятие литературы уживается с атеизмом, так и творческая лит-система популярна среди многих верующих (до двадцатого века атеистов вообще было ничтожно мало). Атеист Горький с одобрения Сталина организовал Союз писателей по принципу церкви, а священник де Вега состоял в литобществах светского характера. Религиозники чисто светские сочинения считают священным писанием (скажем, «Евгения Онегина»), а латиняне произведения на религиозную тематику (Данте, Тассо, Кальдерон) воспринимают светскими – литературой, не религией. Персонажи воинственного атеиста Чернышевского (сами также атеисты) напоминают христианских подвижников, а герои священника де Веги и монаха де Молины, мягко говоря, не образцовые христиане. Кстати, и западная живопись на библейские сюжеты – светская, картины, не иконы, даже у столь страстного католика, как Эль Греко, не говоря уже о Тициане и Рубенсе. Такова и западная музыка церковного жанра, будь то Палестрина или Большая месса Бетховена.

Дух творческой литературы хорошо отразили «Парнас» и «Афинская школа» Рафаэля, картины старых мастеров на тему музицирования. Сравните этот мир с атмосферой византийских мозаик. Вольно дышит латинянам, коллегам по перу, а не холопам и вельможам во главе с богом. Им неведомы запах ладана и завывание муэдзина – только чистый воздух гор (Парнас – гора).

Мы с Кандовой считали проституционную (коммерческую, буржуазную) литературу порождением протестантского региона, северных Европы и Америки, цитадели капитализма. Позднее я сделал вывод, что это не совсем точно. Проституционный вариант всегда составлял добрую половину писавшегося Западом, но пребывал на задворках, суррогатом культуры (то есть, масскультом). Окреп у протестантов XIX века – протестанты вышли из католического мира, только постепенно отходя от него всё дальше. А с двадцатого века претендует на роль настоящей литературы, первичной, объявляя вторичными остальные варианты. Масскульт вытесняет культуру.

Проституционная, буржуазная система быстро распространяется по миру. С распадом СССР обживает постсоветский регион, главным образом, его славянскую часть (мусульмане религиознее, в том числе в литературном отношении).

Происходит коммидификация – всё оценивается в деньгах.

Писатель – проститутка. Клиент (читатель) всегда прав, прав по определению. Литературный мир – бордель, или стриптиз-клуб. Нужно угождать как можно большему числу клиентов, дабы больше заработать. Лучший писатель тот, кто имеет больше клиентов и денег, согласно американской поговорке: «если ты умный, то почему же бедный?» Писатель стоит столько, сколько заработал; не зарабатывающий автор вообще не писатель. Как и в религиозной системе, нельзя спорить, кто лучше, но по другой причине – писатель-священник подчиняется традиции и начальству, писатель-проститутка исходит из гонораров.

Плодовитость равнозначна содержанию. Ведь тираж (а значит, прибыль) зависит не только от популярности ваших книг, но и от их количества. Разрабатываются методики, как быстрее писать.

Понятия знатока литературы не существует. Проститутке всё равно, кто клиент – маститый филолог или полуграмотный мещанин. Налицо охлократия – все мнения равнозначны. Большинство всегда право, ибо оно больше платит. Литпроституткам и массовому читателю неприятна мысль о существовании знатоков, ибо именно высокообразованные люди их презирают.

Воспринимающий литературу как проституцию с пиететом относится к кино, ибо оно популярнее, в мире кино больше денег. Репутация писателя во многом зависит от количества экранизаций. «Сценарист» – это звучит гордо. Пишущий часто опирается на киносюжеты, и из

любви к кинематографу, и потому, что читающий литпроститутку тоже любит, в первую очередь, кино. Среди пишущих много не сумевших стать режиссёрами и сценаристами, записывающих, что им хочется показать на экране. С двадцать первого века на проституционную литературу влияют и компьютерные игры.

Такая литература состоит из детектива, приключенческого жанра, «дамского романа» и эротики с порнографией. Очень ценятся остросюжетность, кинематографичность, юмор, романы с продолжением (подражание многочастным блокбастерам и сериалам). Драматургия интересна настолько, насколько близка к сценарию. Поэзия считается архаизмом – плохо ладит с детективом и плохо экранизируется. Малые жанры не в ходу – не востребованы массой. «Чем меньше объём сочинения, тем ниже его оценивают, почти независимо от качества» (Л., «Хожение к Лермонтову»).

Будучи буржуазной, проституционная литература подвержена узкой специализации, дробится на огромное количество жанров и поджанров; большинство литпроституткок подвизается в одной узкой отрасли.

Проституционная литература, как и творческая, вышла из сказки, но преобразила её иным путём. Писатель-артист усложняет содержание и стиль сказки, совершенствует композицию; писатель-проститутка вульгаризирует сказку, опошляет, а её язык только осовременивает, но не обогащает.

Религиозник – пуританин, ханжа в лексиконе и сюжетах, писатель-проститутка груб на язык и склонен к порнографии. Для религиозников классика – стадо священных коров, прокрустово ложе; для творческой литературы – живая традиция, частично продолжаемая, частично оспариваемая; для проституционной системы – скучное старьё, ведь обыватель не знает истории, а масскульт следует сиюминутной моде. По логике религиозников (хотя прямо они этого не говорят), литература становится всё хуже, ибо авторы заведомо воспринимаются робкими учениками святых-классиков; сторонники литпроституции считают литературу постоянно улучшающейся, ибо прошлое им неинтересно, а значит, оно плохо. Литбордель ассоциирует литературу с техникой, совершенствующейся с каждым годом, и часто вспоминает технический прогресс в качестве аргумента. Аннулируется само понятие «классика». Всё как в поп-музыке: прошлое презирают, изредка – снисходительно полуодобряют.

Поп-музыка упомянута не случайно. Писатель-священник пишет псалмы, церковную музыку; писатель-артист – сонаты и симфонии; писатель-проститутка – эстрадные песни.

Священники и проститутки литературы во многом диаметрально противоположны, примерно в восьми аспектах – отношение к классикам, вообще к прошлому, к матерщине, эротике, остросюжетности, плодовитости, гонорарам, стихам; будучи сравнительно ближе к писателям-артистам, хотя религиозники и их недолюбливают, а проституткок ненавидят. (Религиозник вообще нетерпим к чужому мнению. К тому же и творческая система, и проституционная – светского характера). Такова ситуация и в жизни: сравните священников в прямом смысле слова с творческой интеллигенцией и проститутками. Религиозная и проституционная литературы – две крайности, те самые Сцилла и Харибда, меж коих проплывает корабль литературы творческой. Спор религиозника и проститутки – спор дураков (или разыгрывающих дурачка), впавших в крайности. Каждая сторона права, обличая оппонента, но, переходя к своим утверждениям, обнаруживает собственную глупость. Таковы все дискуссии между дураками, примеры я перечислял в статье «Как вычислять дураков». «...умному человеку всегда приходится воевать на два фронта...» (Л., «Тональная безбрежность»). Писатель-артист – не исключение.

Но любопытно: эти крайности во многом сходятся, противостоя творческой литературе. В восьми аспектах они противоположны – но девять общих признаков отличают их от писателя-артиста.

Писателю-священнику и писателю-проститутке всё равно, насколько разбирается в литературе их поклонник или хулигатель. Священнику важно, кто вы «по чину»; чем выше ваше место в официальной иерархии, тем важнее ваше мнение. Проститутке одинаково интересно

любое мнение. Обоим безразлично, умён или глуп собеседник. Писателю-артисту важно, насколько разбирается в литературе человек, на каком основании он хвалит или раскритиковывает. Священникам и проституткам всё равно, кто прав, их интересует мнение начальства или деньги.

Литсвященнику и литпроститутке не дозволяется иметь своё мнение. Священник слушается автору-богу, святым и начальству, проститутка – толпе. Священник и проститутка, критикуемые начальством, неправы изначально, адвоката не имеют, самозащита запрещена, а прокурор и есть судья.

Священник и проститутка не должны критиковать вышестоящих и более удачливых коллег – это припишут их глупости и зависти. (К тому же это будет несогласием с начальством или толпой).

Священник и проститутка не особо отражают свою индивидуальность, идеологическую и стилистическую. Им потребна нивелировка: священнику – ради начальства, проститутке – ради толпы. Творческая индивидуальность в литературе им мало свойственна – для них литература не творчество, а религия или проституция (бизнес).

Священники и проститутки литературы требуют её упрощения, простоты стиля, общедоступности, подлаживания под полуграмотных обывателей – их куда больше, чем утончённых эстетов. Литература регрессирует. Литсвященник следует образцам, заведомо считаемым лучшими, он обязан быть вторичным, перепевщиком, следующее поколение пишущих уже третию et cetera. Литпроститутка глупеет, следуя за большинством, глупеющим, а не умнеющим – глупеть легче.

«Быть знаменитым некрасиво» именно в религиозной и проституционной литсистемах. Религиозники делают классика религиозным святым, подчас вызывающим невольное раздражение и даже насмешку у умного человека. Это чувствовал Блок, воскликнув: «Молчите, проклятые книги! Я вас не писал никогда!» При творческой литсистеме бояться ему было бы нечего. Автор-бог насильно впихивается в головы, у многих вызывая отторжение, тошноту, даже справедливый комплимент, сделанный ему, отдаёт пошлостью. «...стыдно быть богом» (Л., «Евангелие от Иуды»). Литпроститутка, угождая обывателю, вынуждена быть вульгарной, поп-звездой, хотя облагороженной (писать – умственный труд).

Литературные священники и проститутки одинаково плохо разбираются во всех искусствах. Писатели-священники – из высокомерия («вначале было слово»), писатели-проститутки интересуются только вкусами большинства, из искусства интересующегося только кино и эстрадой.

Творческую систему представляют только добровольцы, а религиозной и проституционной системам часто подчиняются поневоле, избегая остракизма в религиозном мире и материальной нужды – в буржуазном. Писатель пишет как священник или проститутка, таковым не являясь.

Наконец, начиная с двадцатого века, литпроститутки, как и литсвященники, сводят литературу на нет. Для религиозника творчество греховно, как гордыня, самомнение, состязание с богом. Пиши меньше, сомневайся в себе чаще, зарабатывать пером неприлично, трижды подумай, прежде чем начать писать – словом, лучше вообще не писать, а молиться автору-богу. Литпроститутка потрафляет толпе, далекой от интеллектуальных занятий, предпочитающей кино и телевидение, вынужденно глупеет, приноравливаясь ко вкусам телезрителя, клиповому мышлению, что ведёт к вымиранию литературы, заменяемой сериалами и компьютерными играми. Технический прогресс убивает проституционную литературу. Критиковать эту ситуацию литпроститутка не может, ибо, как проститутка, должна удовлетворять именно потребности толпы.

Литсвященник и литпроститутка по их же собственным законам пилят сук, на котором сидят.

В дискуссиях с Кандовой я говорил о превосходстве религиозной литсистемы над проституционной, она утверждала обратное. Сошлись на том, что они одинаково плохи, как две

крайности. Позже я пришёл к выводу, что Кандова более права.

Проституционная система честнее религиозной: репрессии не в ходу, инакомыслящий не преступен, только меньше зарабатывает. Литпроституткам и их читателям он безразличен, а религиозник объявляет его преступным, анафематствует, при возможности гадит вольнодумцу, препятствуя его публикации или лишая преподавательской должности. Проститутке важно собственное благополучие, верующему – ещё и устранение или переделка непохожих на него.

Литпроститутка не лжёт от имени народа, не утверждает от его лица, что именно любит массовый читатель, а литсвященник лжёт, что народу милее всех автор-бог (и часто сам себе верит). Бордель честнее церкви – он не обманывает. Проститутка ублажает толпу, священник – обольванивает. Проститутка не лжёт и о себе, не разыгрывает ложную скромность, не впадает в «унижение, что паче гордости». Литпроститутка не лжёт, что она интеллигент, гордо говоря: «я не интеллигент, у меня профессия есть», а литсвященник подаёт себя интеллигентом и при этом давит вольнодумие, научный склад ума, давит даже творческий позыв в человеке, ведя к аннулированию интеллигенции, позоря её причислением себя к ней. Литпроститутка не против стилистических красот, не интересуясь ими лишь потому, что этого не ценит толпа, а литсвященник принципиально против виртуозов и прямо требует быть «попроще», он не то чтобы глупеет в угоду толпе, ему самому любя простоватость писателей и читателей, он не равнодушен к эстетическим красотам, как толпа, нет, он их враг. Религиозная литсистема не оставляет выбора (религиозник ненавидит возможность выбора), навязывая всем одинаковый набор освящённых текстов; проституционная литература разнообразна, она тешит смакованием насилия или сентиментальной идиллией, описанием изнасилований а-ля де Сад или феминистским романом, историей любви олигарха к Золушке или однополых Ромео и Джульетты. Проституционная система не извращает творческую литературу, не обращает знаменитого писателя-артиста в кастрированного святого, а литбогословы оплевали Насими, Лермонтова и Маяковского, впихнув в иконостас, унижая подчинённостью автору-богу, назначенному не ими. Литпроститутка любит своих кумиров, а религиознику наплевать на сочинения своих бога и святых, его интересует только подпись автора, текст не важен. Литпроститутка может признаться, что ей не нравятся вкусы читателя, но она удовлетворяет их ради денег, и её не упрекут за откровенность, а в религиозной литсистеме нельзя признаваться в несогласии с официальной иерархией, нужно лгать не только в сочинениях своих, но и в интервью и даже частных разговорах, нужно лгать даже голосом, своей интонацией, иначе перестанут публиковать, ославят, опозорят, оклеветают, заклюют.

Литбордель не принижает писателя, не стыдит за плодовитость и большие гонорары, не внушает мысль о недостижимости авторитетов, будь то классики или попсовые знаменитости. Не делает любовь к ним обязаловкой. Может поставить новичка выше их – пусть только больше заработает. Соревнование честное, без двойных стандартов. Толпа, судья литпроститутки, честнее церкви, ей интересно, что написано, а литсвященники и литприхожане ставят автора-бога и классиков выше остальных, независимо от самих текстов. В литборделе можно попросить оценить свои сочинения, и собеседник будет честен, а литцерковь будет лгать, ибо, принадлежи ваш текст классику, она говорила бы нечто другое, а если автору-богу – нечто третье.

Литбордель не насаждает чиновпочитания, а религиозник тянется к созданию церковной организации, где царствует принцип «чин чина почитай», с табелью о рангах и «генералами», неприкосновенными для нижестоящих. Священник – он ведь чиновник, хоть и «духовный», не светский, и литсвященник всегда стремится к высокому посту, как заслону от критики. Проститутка не имеет чинов, её судят по труду, а не званию.

Советскую цензуру много ругают, но всегда не за то. Заслон религиозной пропаганде, национализму, порнографии и матерщине приносил пользы больше вреда, что видно при современном мракобесии и ополчении. Она была вредна навязыванием литературной иерархии. Писатель не может сказать, кого из пишущих он считает лучшим, что думает о себе в сравнении с другими, всё решено за него: лучший писатель – Пушкин, на втором месте тот-то и тот-то, на третьем те-то и те-то ets. Нужно поддакивать или, в крайнем случае, молчать, что

считается согласием, «пением в хоре с закрытым ртом». Проститутка может говорить, что угодно, она свободна в речах своих. В религиозной литсистеме многие писатели-артисты вынуждены таить свои взгляды и по умолчанию принимаются за литсвященников; литбогословы так и представляют их читателю. В борделе такового не происходит.

Религиозник, критикующий продажных авторов, схож с Бальзаком, прекрасно разоблачавшим буржуазию, но в качестве альтернативы не нашедшим ничего лучше романтизации дворян. Правда, Бальзак, большой художник, невольно разоблачил и дворян. Большинство литературных религиозников на подобное творческое достижение не способны.

Религиозник, желающий перемен в постсоветской культурной жизни – потенциальная императрица Феодора, поселившая группу проституток в монастыре. Больше половины несчастных сбросились в море.

Буржуазия прогрессивнее духовенства, капитализм – шаг вперёд от феодализма. Литбордель буржуазен, литцерковь – мир феодальный. Переход от религиозной литсистемы к протитуционной схож с отменой крепостного права.

Всё, как в жизни. Проститутка честнее и безопаснее священника. И лучше кутнуть в борделе, чем расплатиться в храме перед богом, назначенном (придуманном) не нами.

Другое дело, что и религиозное сознание, и современный капитализм имеют целью устранение литературы. «К настоящему времени прогрессивный потенциал капитализма (и, следовательно, правящего при капитализме класса – буржуазии) полностью истощён» (Александр Тарасов, из интервью, данного мне на рубеже 2013-2014 гг.). Верующим (плюс псевдоатеистам с религиозным сознанием) и буржуазии равно опасен разум, точнее, им опасны философские, общественные и гуманитарные науки. А литература переплетена с ними теснейшим образом. Религиозники делают литературу скучной, незанимательной, не учитывая вкусы читателей, отбивая охоту читать; буржуазия действует противоположным путём – литература угождает толпе, но толпу оглушают СМИ, зрелищное кино и спорт, и людям становится трудно читать вообще (всякое чтение – умственный труд). Правда, при религиозной системе литература вымирает в любом случае, а литпроституткам мешают кино (порнофильмы тоже), телевидение и компьютерные игры – они оглушают эффективнее и больше нравятся обывателю, и буржуазия сделала ставку на них. То есть литпротитуция и здесь лучше литературы, но при современных технологиях это не меняет дела.

Религиозная система душит автора высоким званием писателя, фактически делая его пешкой, коей «не должно сметь» своё мнение иметь, страшая «княгиней Марьей Алексевной», исподволь внушая мысль о греховности сочинительства. Капитализм соблазняет большими гонорами, но в глупеющем обществе литпроститутка постепенно приходит к выводу, что зарабатывать лучше не литературой, а чем-то другим.

Гуманитарные науки также вырождаются различно: религиозники делают их богословием, буржуазия – жёлтой прессой, обсуждающей грязное бельё классиков (вульгаризированный фрейдизм).

Во что выродились литсвященники и литпроститутки, хорошо показано в статьях Надежды Залозной «Анатомия презрения» (о романе либераста) и «Проект «Храм»» (о книге постсоветского придворного попа).

Литцерковь и литбордель замалчивают творческую литературу, а часто не подозревают о ней. Им легче критиковать друг друга, чем писателя-артиста. Религиозник выставляет всех оппонентов проститутками, писатель-проститутка и его читатели обвиняют всех несогласных в поповщине. Оба завоёвывают читателя, играя на его неприязни к священникам или проституции (сравните аргументы из «Манипуляции сознанием» Кара-Мурзы, православного атеиста, и литпроститутки Никитина). Это напоминает дискуссии славянофилов с неолибералами. Общая цель, несознаваемая большинством оппонентов: отвратить читателей и авторов от творческой литературы, дабы они поклонились – автору-богу или толпе. Религиозники и буржуазия не любят тех, что не кланяются.

Религиозная и протитуционная литсистемы – союзники, большей частью неосознанно. Их программа-минимум – уничтожение творческой литературы, программа-максимум – уничтожение литературы вообще.

Восприятие литературы как производства наблюдалось в начале двадцатого века. Рабочая, производственная литсистема популяризировалась советской властью двадцатых годов, но была быстро поглощена религиозной системой, растворилась в ней. Де-юре была заявлена производственная система, де-факто расцвела религиозная, с элементом производственной. Сталинисты возродили православно-исламскую литсистему под видом марксизма-ленинизма, зачастую искренне путая левую идеологию со средиземноморским монотеизмом. (Так же и византийская система власти выставлялась ленинской).

Литература сродни производству на заводе, мир литературы – цех со станками. Писатель – рабочий, работник. В СССР так и говорилось – литработник. Только представители производственной литсистемы осознают свою систему, для них не надобно изобретать термина, своё имя они называют сами.

Писатель должен приносить пользу не опосредованную, а прямую, сиюминутную, рабочим и крестьянам. Литработник – моралист, как и литсвященник, но для него справедливость не в догматике, а в выгоде трудящихся. Аморально не богохульство, а внушение практического вреда в социально-экономическом аспекте.

Литература – оружие холодной войны, бич общественных и психологических недостатков. Почитается сатира. Воспеваются труд, героика труда. Литработник не проповедует, а даёт практические рекомендации.

Стиль должен быть прост, общепонятен – не из самоумаления «раба божьего» религиозника или ради прибыли литпроститутки, а чтобы внятно растолковать большинству населения, что делать и кто виноват.

Религиозник не любит тонкостей литературной техники, как «формализм», щегольство. Остальные литсистемы этим интересуются, но по разным причинам. Писатель-художник – ради эстетического совершенства, красоты; литпроститутка – стараясь лучше угодить «клиентуре»; литработник – лучше воздействовать на идеологию читателя. Литработник, как и литпроститутка, не романтизирует своё занятие, для него это нечто сугубо деловое. Проститутка в борделе и рабочий за станком меньше всего думают о поэтизации своего труда. Особенно в момент работы.

Литпроизводство, как и литцерковь с литборделем, нивелирует авторов. (Как и в жизни, возьмите церкви, бордели и заводы в прямом смысле слова). Человек – часть Системы, религиозной, протестантской или производственной, заводской. Другое дело, что дух и цели этих систем очень разные. Литбордель состоит из индивидуалистов, соблюдающих общие правила игры ради материальной выгоды (таков буржуазный мир в целом). Литцерковь и литзавод роднит дух соборности, коллективизма, но цели опять-таки разные: у литцеркви – поклонение автору-богу, послушание догмам, у литпроизводства – общественные интересы, удовлетворяемые сообща.

Дух литпроизводства идеально передан картиной Дейнеки «Маяковский...», что неудивительно – Дейнека сам представитель данной разновидности культуры. Герой полотна, главный представитель производственной литсистемы, пребывает в рабочей, суровой обстановке. Романтика в его положении есть, но романтика суровая, трудовая. Он равно непредставим в храме, на сцене театра или в борделе. Он работает на заводе, литзаводе. Маяковский показан рисующим плакат – эстетика плаката весьма свойственна литзаводу (Маяковский талантливый плакатист). Литсвященник – иконописец, писатель-художник – живописец или скульптор, литпроститутка – автор комиксов, литработник – плакатист и карикатурист.

Литработник, как и литсвященник с литпроституткой, оказывается в ложном положении. Для литсвященника и литбогослова творческая деятельность – гордыня, самомнение. Литпроститутку делают архаизмом новые технологии, отупляющие человечество. Литработник должен доказывать свою практическую полезность, а литература, подобно философии, фундаментальной науке и искусству, быстрой практической пользы не приносит; суть литературы, философии и искусства такова, что вопрос о пользе не стоит. Литсвященник и литработник в той или иной степени стыдятся сочинительства, а последние полвека начинает стыдиться и лит-

проститутка, сравнивая свои гонорары с прибылью мира кино и телевидения. Все трое должны оправдываться за своё занятие: литсвященник – перед автором-богом, литпроститутка и литработник – перед обществом. Литпроститутка должна доказывать, что она не менее зрелищна, чем кино, литработник – что он не менее практически сиюминутно полезен, чем рабочий. Убедительно не выходит.

По логике литсвященника, он должен стать буквально проповедником, воспевающим автора-бога и читающим нотации; литпроститутка – выдавать рифмованную рекламу и сценарии сериалов для бизнеса, кино и телевидения; литработник – перейти к заводскому труду, временами пища агитки для соратников. Литработник должен приносить пользу наподобие не фундаментальной науки, а прикладной, и литература переходит в агитки, надписи к плакатам, сатирические фельетоны и документалистику. Литработник незаменим в разгар холодной войны (наступающей в годы войны физической), примером служат Гражданская и Великая Отечественная войны. Но в обычное время производственная литсистема обедняет, огрубляет литературу.

Плюсы и минусы литработника хорошо видны на примере Маяковского, осознанно перешедшего из творческой литсистемы в производственную, из артистов литературы – в её рабочих. Его стихотворение к Пушкину – по содержанию откровенно тупое, при этом видны и достоинства автора по сравнению с Пушкиным, и недостатки. Маяковский считает Пушкина левым, демократом, почти революционером (это крепостника-то). То есть Пушкина он считал кем-то намного более порядочным, и вышла глупость. Во-вторых, он свято уверен, что Пушкин радостно подался бы в литработники, пища агитки, хотя Пушкина раздражала сама мысль о практических обязанностях литературы. Пушкин как поэт-пропагандист большевизма – зрелище невообразимое дважды, в политическом аспекте и литературном (попробуйте представить Пушкина героем картины Дейнеки). Всё равно, что предложить Маяковскому роль Романа Сладкопевца. Что касается литературного аспекта, тут правда за Пушкиным, не наступившим, в отличие от Маяковского, «на горло собственной песне».

Литработников в тридцатых годах сменили литсвященники, отчего и застрелился Маяковский. Кстати, вторая причина самоубийства близка первой: церковью становилась и партия, переименованная из РКП(б) в ВКП(б), и это отразилось на литературе. Производственное начало частично сохранилось, сохранился термин «литработник». Выше писалось, что Пушкин непредставим в роли Маяковского – но советские литсвященники пытались играть эту роль. К Пушкину их тянуло как религиозников, как стадо верующих к господу своему, к Маяковскому их привязывала советская идеология.

С распадом Союза одни литсвященники ринулись в бордели, другие открыто признались в своём духовном звании. «Мы опять стали набожны» – так признаются эти отступники, и многие из них ещё слишком малодушны, чтобы признаться в этом» (Ницше, «Так говорил Заратустра»). В писатели-артисты особо не спешат. Это закономерно – священники и проститутки родственны, одинаково не любят литературы, одинаково далеки от эстетики как философской дисциплины. Вспоминается анекдотический случай в одном из немецких городов XVI века – протестантские власти закрыли монастырь, и в результате все монахини перешли в ближайший бордель. Куда ещё было податься людям с вывихнутым разумом? Интеллигента из литсвященника не выйдет, он останется самим собой или подастся на панель. Споры постсоветских писателей о путях литературы – споры попов с проститутками. Жалкое зрелище. Писателю-артисту опереться особо не на что: отечественные традиции – поповско-мулловские, западное влияние – проституционное. К тому же литбогословы извратили, оболгали творческую литературу, приписав её классиков себе, «прилизывая» их, оскопляя канонизацией, и молодёжь часто воротит от классики, как от религии, хотя две трети мировой классики – творческого духа, не религиозного. Литприхожане уже пытаются канонизировать Пушкина в прямом, церковном смысле, заодно лишив «Гавриилиады».

Опирается можно на мифы и сказки (весь мировой фольклор), классический Запад, рим-

ский и XIV- перв. пол. XX веков (кстати, по примеру Пушкина и Лермонтова), латиноамериканцев и русский Серебряный век, донныне малоизвестный. Можно использовать и религиозную литсистему, воспринимая её как светское явление. В начале творческого пути я штудировал пушкинскую прозу, что не помешало мне, как писателю-артисту – Пушкина я считал человеком, не считая себя обязанным быть хуже. Если сохранять научный склад ума и дух древних, можно использовать с пользой даже Библию и религиозные предания. Флобер, атеист в жизни и в литературе, успешно использовал и то, и другое. Религиозные предания становятся плодотворными для литературы, если их использовать как мифологию. Ведь и античная мифология была религией. А верующим можно сказать – не обязательно делать литературу религией. Римляне, католики и японцы так не делали и не делают – чем их литература хуже прочих?

Касаемо левого движения (сторонников социализма, атеизма, интернационализма и равенства полов) можно вспомнить ленинский вариант литературы – творческо-производственный. Поддерживая сторонников литпроизводства и «ЛЕФов» (левофутуристов – из них вышел Маяковский), примкнувших к ним, Ленин и Луначарский давали им советы в духе творческой литературы – изучать классическое наследие, использовать его как можно больше, но не идеализировать. Тем более, что Ленин был далёк от идеализирования морального облика старых мастеров. То есть, предлагал синтез творческой и производственной системы.

Как всегда и во всём, Ленина никто не понял, при этом все говорили от его имени. Маяковский и Мейерхольд были свято уверены, что культура прошлого враждебна будущему и подлежит забвению или высмеиванию. Сталинисты внедрили религиозно-производственную литсистему. Религиозное начало было привычно православно-исламскому обывателю и выгодно для державной власти, производственное сохранили вынужденно, как прикрытие. Лермонтова, коему Ленин поставил памятник первому из поэтов, заменили Пушкиным. Правда, осуществить эту подмену в советских умах, де-факто, удалось не сразу, только к середине века. Ещё в Великую Отечественную литбогословы сокрушались, что партизаны просят забрасывать им книги Лермонтова, не Пушкина. По меткому выражению поэта Экрама Меликова (род. 1947), Пушкина кормили русскому народу, как Пётр I – картошку. (Точнее – всем русскоязычным). Творческую литературу Запада подавали как религиозную, обратив в набор догм (как и идеологию марксизма-ленинизма). С Серебряным веком обошлись проще, просто предали забвению, кроме отдельных частей, не смущающих литприхожан. Этот процесс отражён Маяковским: «Я тру ежедневно взморщенный лоб / в раздумье о нашей касте, / и я не знаю: поэт – поп, / поп или мастер. / Вокруг меня толпа малышей, – / едва вкусившие славы, / а волос уже отпустили до шей / и голос имеют гнусавый. /... Я зубы на этом деле сжевал, / я знаю, кому они копия. / В их песнях поповская служба жива, / они – зарифмованный опиум. / Для вас вопрос поэзии – нов, / но эти, видите, молятся. / Задача их – выделка дьяконов / из лучших комсомольцев» («Моя речь на показательном процессе по случаю возможного скандала с лекциями профессора Шенгели», 1927).

В 1934 году деградация завершилась: возник Союз писателей по принципу церкви (символично, что тогда же скончался великий писатель-артист Андрей Белый). Комично, что его основатель Горький искренне полагал, что Союз – литзавод, для литработников; но, как православный атеист, бессознательно строил поповскую организацию (что и требовалось Верховному семинаристу).

В «Евангелии от Иуды» я разделял представителей всей мировой культуры на пушкинистов и лермонтистов. Легко заметить: литературные религиозники – пушкинисты. В творческой системе встречаются и пушкинисты, и лермонтисты. Кандова полушутливо говорила в наших беседах: есть «понимающие пушкинисты», спокойно относящиеся к лермонтистам, без агрессии. Уже после неё я осознал: «понимающими» мы называли именно пушкинистов творческой системы. Религиозник – пушкинист-ортодокс, лермонтистов считает людьми безнравственными и всячески пытается свести их на нет.

В производственной литсистеме, на мой взгляд, пушкинист и лермонтист сливаются во-

едино в каждом авторе. Что касается проституционной литсистемы, то литпроститутка по определению не относится к пушкинистам или лермонтистам. Ей всё равно, что писать, она просто делает деньги. Термины «лермонтист» и «пушкинист» – культурологические, а «масскульт не культура вообще, подобно тому, как поглощённый раковой опухолью орган перестаёт, по сути, быть органом» (Александр Тарасов, из того же интервью).

Ленинская, творческо-производственная литсистема пригодна и в борьбе за коммунизм, и при его строительстве. При нём самом производственное начало отпадёт рудиментом. Литературный мир обратится в Парнас на фреске Рафаэля. Этот мир уже живёт в умах писателей-художников, он дышит со страниц творческой литературы. Но в реальности творческая интеллигенция напоминает Данте и Вергилия в ладье, отбивающихся от врагов в мутных волнах поповщины и проституции, гнусавых псалмов и крикливой попсы, раболепных панегириков и матерщины, хмурых ханжей и вихлястых стриптизёрш. Не роспись Рафаэля тут вспоминается, а «Ладья Данте» Делакруа.

Ну, а в связи с этой ладьёй вспомню рассказанное мне Игорем Белисовым во время писания этой статьи. Он сотоварищи едва не утонули в лодке, в турпоходе. Капитан предупредил их в критический момент: в таких ситуациях покидающие лодку гибнут раньше и чаще оставшихся, борющихся в команде. Белисов остался, боролся и выжил. Символично, что он писатель-художник.

Прыгающие за борт не выживут. Православной и исламской церквям они не нужны. Церковь мечтает о допетровском режиме, когда само слово «писатель» было не в ходу. Светские литсвященники не в чести, ибо нет советского строя. Лизать зад толпы литпроституткам всё труднее – толпа всё реже его подставляет, приберегая для шоуменов. Творческая литература должна оставаться сама собой. Читать, и тем более покупать, только своих. Следить за своими мыслями, дабы не соскользнуть в религиозную и проституционную крайности. Изобличать литсвященников и религиозное сознание в целом, высмеивать литпроститутки – устно и письменно. Подчёркивать их родственность. Если совсем трудно, то подработать в борделе, только не служкой во храме, дабы дух оставался свободным. Больше и лучше писать, дабы было чем гордиться перед другими литсистемами. Пропагандировать ленинский вариант – скрытно и явно, художественной литературой, научной и публицистической. При новой революции и гражданской войне – перейти в литпроизводство.

За Парнас в жизни надо бороться. Совместными усилиями: революционеров, писателей и читателей.

РЕПЛИКА ОТ РЕДАКЦИИ

*Я могу быть не согласным с вашим мнением,
но я готов отдать жизнь за ваше право высказывать его.*

Вольтер

«...Стоит лишь прочесть биографию любого классика, чтобы увидеть, как неумолима и беспощадна была к нему критика. Причина этого проста: критики крайне не уверены в себе, не понимают толком, что происходит, они – демократы, когда рассуждают о политике, но едва лишь речь заходит о культуре, оказываются фашистами. Они считают, что правителей народ себе выбирать может, а фильмы, книги, музыку – не вправе...»

«...Посредственность и безликость суть наилучший выбор. Будешь придерживаться его – сумеешь прожить жизнь без особых проблем. А попытаешься поступить иначе...»

Пауло Коэльо. Заир.

